

Эльза Триоле

*Саровей
умалчивает
на рассвете*

Изд-во «Галлимар», 1970

© перевод: Колягин В.А., 2015 г.

На надгробье, под которым покоятся два преданных друг другу сердца,
Луи Арагона и Эльзы Триоле, начертаны такие *Слова*

«Когда оба мы, бок о бок, окажемся под могильной плитой, альянс книг наших сплотит нас в то единое «и в горе, и в радости», о котором мечтали и хлопотали мы, ты и я. Смерти в помощь попытаются разлучить нас, и должно быть преуспеют в том, с чем не справилась выпавшая на нашу долю война - мёртвые беззащитны.

И тогда - чёрным по белому, рука об руку - явятся книги наши, кресту подобные в единстве своём, противостоять всему, чем станут исторгать нас друг из друга».

Эльза

Они могли бы, по сути, стать эпиграфом к последнему роману *Эльзы*, который вам предстоит прочесть либо отложить в сторону.

Она выбрала иные, из *Маяковского*.

Дань памяти первой влюбленности?

На смертном одре – как на духу?

Тон задан...

Роман написан незадолго до собственной её кончины, уже в тяжком недуге, о котором оба понимали всё, без экивоков. В 1969 году, следовавшим за 1968-ым, в котором съёжился в негодовании Париж и содрогнулась от негодования Прага, и от негодования того трещинами пошло величавое здание международного коммунистического движения, верными и деятельными участниками которого являлись оба (*он* - в составе руководящих органов компартии Франции, *она* - в рупоре французских коммунистов, газете «*Юманите*», в качестве её корреспондента наведывалась в СССР не единожды), *Арагон* написал, едва ли не для неё одной, роман в стихах - «*Комнаты; поэма о непроходящем времени*», - на русский язык так до сих пор, к сожалению, и не переведённый.

«*Соловей умолкает на рассвете*» прозвучал ответом, ему и для него, прозвучал прощанием с ним.

Их поэзии и прозе суждено было переплестись в целостное единство, о чём позже, во исполнение последней на то воли умиравшей *Эльзы* и будет указано на общей могильной плите, в имени Сент-Арнуй-ан-Ивелин близь Парижа.

Арагону было суждено пережить *Эльзу* на двенадцать лет.

Текст предлагаемого перевода сохранил оттенение отдельных частей романа различным шрифтом, разного даже цвета, как в оригинале. Одна «явь» как бы соседствует с «иной», не смешиваясь, чтобы читатель не усомнился в том, что «яви» те или «грёзы» различны и о разном, но друг от друга неотрывны. И приходится извиняться за то, что мною использованный цвет *курсива* отличается от оригинального – перед вами всё же перевод.

Роман – размышление, думы и грёзы на краю жизни и о жизни... напоминание о краткости её и хрупкости, о любви ко всем и всему, что по большому счёту сотворено.

Франция чтит память о нашей соотечественнице, там изданы все её произведения, включая дневники и письма, несколько колледжей носят её имя, продолжает свою работу «общество памяти *Луи Арагона* и *Эльзы Триоле*», квартира в Париже и поместье в Сент-Арнуй-ан-Ивелин» ныне музей.

Мы перед ней в долгу.

Перевод этот малая толика в счёт его погашения...

«Вред мerta, и бесполезно грезить...»

(В. Маяковский, «Юбилейное»)

Всё в сидевших, казалось, свидетельствует о благополучии - непринуждённость поз, доведённые до изыска ухоженность и аккуратность... Безупречная белизна зубов. Ненароком мелькнувшая плешь, и та, непременно, проблеском. Кожа лиц, правда, как... у ошипанной курицы... испещрена морщинами... желтизны пожухлого пергамента, но все... выбриты и благоухают «о-де-колонами».

Храбрятся, чего-то дожидаясь... в надежде, что ожидаемое запоздает. Делятся планами, замыслами, идеи излагают, мнения высказывают, что-то обсуждают, как если бы было у них то самое... *Будущее...*

Они едва отужинали = при свечах, за двойными, наглухо задёрнутыми портьерами - и теперь сгрудились во круг стола, заставленного прозрачной толпой бокалов, полных вин разной степени выдержки, соперничавших нюансами вкуса и переносивших присутствовавших в общее их прошлое, обращая прожитое друг от друга отдельно в *ничто...*

И переносятся они притом в некий, заполненный серыми, схожими с киношными, сумерками зал, на одной из полупрозрачных стен которого обозначены стеклянные двери, выходящие в парк со столь же ухоженными, как и они сами, газоном, дорожками, деревьями... Здесь всё подёрнуто трауром, и сочится всё едва уловимым благоуханием, и оцепенело в ожидании того, как всё это, будто крышкой гроба, накроет крошечная ночь.

И каждый здесь наедине с личной жизнью, как с отснятым и уложенным в коробки фильмом. И ничего-то в нём уж не изменишь, ничего не подправишь: джентльмена из плута не сотворишь, сидня ленивого странствовать не отправишь, в тени дотолы прятавшегося не осенишь славой - не наделить здоровьем больного проказой. Ставки сделаны... Всё теперь уже останется как есть - судьбы обожжены, огранены и приготовлены публике к осмотру. Осталось лишь добавить в чей-то эпилог пару-тройку уточняющих затянувшуюся историю штрихов ... что-то вроде даты, места и

обстоятельств её завершения. Да и эпилог, если не в деталях, то уж в общих-то чертах predetermined - недуг, удар, у кого-то несчастный случай в дороге, после чего следует и краткое то слово: *конец*.

Источаемая стариками горесть тем и обусловлена, что всё у них уже очерчено, всё уже произошло, и завершенность биографий исключает любую неожиданность, надиктовывая лишь содержание крохотного остатка предстоящего, да подталкивая к осознанию того, что всё, за малым лишь быть может исключением, приключилось напрасно.

Средь дюжины представителей мужского пола, укутанная в густые клубы табачного дыма, разбавляемые, слава Богу, свежим воздухом, проникавшим снаружи через приоткрытую дверь, думает о чём-то своём единственная дама. Она старается отыскать в них какие-либо различия, прежде всего, дабы урезонить саму себя, и что позволило бы старцам не смешаться в общей их обреченности. К примеру, тот что возле двери... о нём его биограф позже скажет: «В восемьдесят он написал самый юный, самый свежий свой роман, потрясший размеренную поступь всей литературы». Ученый, чьи изыскания обернулись на краю его жизни открытием, возраста не имеет.

Тому же, кто опасается чего-либо не достичь по причине нехватки времени, или кому для того нужна не одна, а пара жизней, возраст идёт в зачёт как-то иначе. И уж совсем ничего не значит этот самый возраст того, кто только и знает, что повторяет и повторяется, но так и не поспевает оправдать возложенных на него надежд.

Старания её оставались тщетными, не удавалось ей отыскать доводов против их же уверенности в том, что старики, все - и эти, и прочие - из того, что сказать должны были, всё уже сказали, сделали всё, что сделать были должны, и теперь могли ничего более ни говорить и не делать, не заботясь о том, изменится ли что-либо или не изменится в ими описанном, добавит ли почестей, восхвалений, титулов, умножит или уменьшит число миллиардов, принадлежащих кому-то из деловых людей, не говоря уж о давно не допускаемом к полётам пилоте, о певце, непременно «дающем козла» или сданном в архив политике. Что касается женщин, то... Если сегодня на этом ночном randevу друзей молодости присутствует она одна, так это потому лишь, что одни в пути где-то отстали, кто-то опёрся на чью-то руку, иные, может статься, что и умерли. Или не пожелали предстать перед очами прочих, растеряв прежнюю свою привлекательность... Нет ни одной, кого связывали бы с этими мужчинами любовные узы - ушла любовь, рассеялись, словно туман, и они...

Она же составляла неизываемую часть их общего прошлого. Да, именно неизываемую, неотъёмную... Этой ночью, как, впрочем,

и во всякую другую, да и всяким днём, она трепетно отслеживала время, хотя ни сама дата, ни время встречи заранее оговорены не были, и даже то, с кем предстояло встретиться, было ей невдомёк.

Ходит молва, что костлява она, что улыбчива, и что безо всяких там журнала или розы в руке узнаваема, может, мол, явиться и с опозданием, в самый что ни на есть последний, «на флажке», момент, но во все времена обязательству своему к randevu остаётся верна. Не знает, что такое ожидание... и что есть жизнь, а что вечная каторга. Подобные приговоры неисполнимы и, при всём уважении к закону, не более чем глупость и несуразица. Кому только такое может прийти в голову! Как его, подобное наказание отбывать? Вечная! И что себе эти люди позволяют? Ничего вечного не существует, всем это известно, но кому-то приходит в голову осуждать навечно. Всё это смехотворно! Вечной каторги, как и вечного двигателя нет. А что значит это вечное? Прекращается жизнь, заканчивается и вечность, всему есть предел. Короче говоря, встреча с дамой, о которой идёт речь, неизбежна, хотя точные день и час её вам никто не назовёт, а в отведенное до того время, если вам так уж того хочется, можете представлять себе, что жизнь вечна.

Она не прислушивается к тому, о чём они говорят, да и едва-едва различает их в полутьме. Хозяин дома, собравший всех их вместе на ночное randevu, заранее всё предусмотрел и, вне всякого сомнения, понимал, что приглушенный свет отретуширует ущерб, нанесённый возрастом тем, кто когда-то, давным давно, сообщая играл в воров и жандармов, предоставив им возможность полукавить с сами собой. Полутьма, жутковатые мысли, забавные несуразности. Явились все, за вычетом умерших, агонизирующих, недвижимых, не получивших приглашение и тех, кто продолжал жить бок о бок с жандармами. Вечеринка удалась на славу, разговорились. Кто-то, как и в памятные для всех времена, продолжал начатое, оставаясь в живописи, поэзии, в общем «при искусстве», другие с ним порвали и удалились в иные, никак с ним не связанные веси. Слушали на вечере по большей части Фому.

Ох, уж этот Фома... Лет сорок тому назад не было среди них кого-либо, кому не довелось хотя бы раз что-то услышать о нём, столько было толков и рассказы о его похождениях... Уделом же того сословия, с которым Фома некогда решительно порвал, чтобы обрести место среди них, оказалось на поверку едва не полное его упразднение из социального баланса. Братья и сестры его, родители и прародители, как и вся многочисленная рать тех, с кем он той порой знался, принадлежала к родовой, корнями уходившей в глубь веков, так или иначе тесно повязанной в тугой узел знати. Сынки спустили состояния, оказались со своими до нуля обесценившимися титулами «не у дел», едва ли, однако, усомнившись при этом в существовании «рыцарей без страха и упрёка», равно как и мирных

рантье. Кого-то из них прибрала война, кого-то среди них отобрала в ряды пособников оккупация, при вспыхнувшем свете пришедшего затем освобождения лишившихся всех своих благ. Нашлись и такие, кто надумал заняться чем-то нужным, пробовали себя одни в искусстве, иные в разведении скота, не разбираясь и в азах ни того, ни другого. Замки проданы, уголья заброшены, вновь подраставшие юноши и девицы пристраивались там и сям. Сословие распылялось, истощалось...

Вышедший из того же сообщества Фома оказался-таки из ряда вон и не преступил сыновей верности неуёмному племени охотников за удачей. Сидевшим вокруг стола довелось видеть его отъезжавшим в Харар, по примеру Рембо, как казалось им, во что верил он и сам. Более полувека минуло с тех пор. Порой ему баснословно везло, случалось и терять всё вчистую, скитался по джунглям, плавал, ненароком в Азии на посту французского консула оказался, затем, оставаясь всё это время не сотворившим ни единого стиха поэтом, вернулся.

Он и теперь, в сумерках ночных, выделялся среди прочих нарядом из белой холстины. Некогда мягкое и рыхлое лицо его, предстало взорам едва ли не чёрным, высушенным и обожженным, будто пропущенным через кузнечный горн. Его признавали не узнавая, как признают в юноше мальчика в матроске и с обручем в руке с пожелтевшей фотографии, вновь пытаюсь обрести друга юности, воссоздавая ускользавший, подобно сну при пробуждении, давний его облик. Кто-то продекламировал:

*On a perdu le scénario
Tout le passé par mégarde égaré..¹.*

и все разом заговорили о поэзии. Ну как же, это же та самая, новая поэма... Фома должен всё вспомнить... и автор её вот-вот явится...

И Фома припоминает... И громоздятся друг на дружку годы, и вновь переживается всё прожитое, и по огромному циферблату, очерченному по кругу зримым горизонтом, спешит куда-то своей суетной рысцой секундная стрелка.

Они что же, и вправду принадлежат двум столетиям? Вот и стоящий перед ними Фома вернулся из такой дали, что слушаешь его, будто медиума канувших навсегда в Лету иных миров, иных времён.

Все они в придуманной той ночи собрались, пятась задом наперёд, в тщетных поисках смутной надежды.

¹ строки из поэмы Луи Арагона - «Комнаты, поэма о непреходящем времени»
«Утрачена канва,
минувшее случайно заблудилось...» (даны в моём переводе)

Сидят теперь в зале, выходящем окнами в парк. Никто, похоже, не замечает, как воздух вокруг перемешивается с ночью, будто в него, как в воду, вливают чернила, сгущая тот до черноты. Является похожая на старую, измятую кастрюлю медная луна, вслед за ней дырявят черноту невзрачные звёзды. Никто с ночью той, залив её светом, расправиться не помышляет, никто не посягает на правила игры. Идёт непринуждённая беседа, о чём-то обо всём, подобная настройке инструментов в оркестровой яме... перед поднятием занавеса... в предвкушении главного. Призом в игре, дамой той ожидаемым, станет момент перехода бессвязной какофонии в гармонию ночной тишины, наглухо погасившей звуки и залившей своей чернотой всё и вся - сидевших, стоявших, кутивших, пьющих кофе или подносящих ко рту бокалы с вином, в миг обрекая на неподвижность и немоту. И не того ли самого ожидают теперь и они? С той поры, подумалось даме, как нос свой наука сунула и сюда, человек, в былую пору вольный выдумщик и мечтатель, почувствовал себя глубоко уязвлённым... Однако, мысль её на этом внезапно оборвалась - робко рассыпал первую свою трель соловей, и она тут же и безропотно поддалась её наваждению:

На чёрном... нет, на голубом до черноты небе молочная россыпь звёзд. Среди них, крупными брильянтами в звёздной оправе, сияют созвездия. Я иду под тем небом, и на меня градом сыплются не звёзды, нет, а их свет, ровный и пустой. День в том краю абрикосового цвета. Их, абрикосов, здесь горы, самый крупный, самый спелый и тёплый из них - солнце. Оно струится сверху и всё, чего касается, сжигает. Сжигает и меня, я горю. Земля пустынна, она плоская и ровная до самого горизонта, от плохо выбритой её щеки исходит аромат лугов. Усаживаюсь в гущу ребячьего гомона и тонким, словно игла, крючком принимаюсь вязать изящное ирландское кружево. У сидевшего в кресле ребёнка парализованы ноги, но он не ведает своего несчастья, и крутит кресло своё изо всех сил, чтобы не отстать от играющих сверстников. Прямо под открытым небом устроен душ, воду греет солнце, вода в ведре, ведро опрокидывается, если потянуть за бечёвку. Парализованный малыш заодно смеётся и... ой! крючок впивается мне в палец! Мне больно. Как я боюсь врача, что станет вытаскивать мне его! До города можно добраться на машине, по тряской, ухабистой, грунтовой дороге... мне страшно... этот крючок, кружево, болтающийся на пальце клубок, страшно мне... доктор станет его тащить, цепляясь им за нервы, кость, кожу, мне больно, мне страшно...

Абрикосовый день сбрасывает с себя декор. Свободная от дневных прикрас земля предстаёт взору в черных полосах цензурной правки, ночь сдвигает горизонт в необозримую даль, оставляя на прежнем его месте недоумение и недоверие. Всё исчезает, лишь осязателнее благовоние душистого табака, чьи белые бархатистые лепестки радуются ночи, обратив меня в незрячую. Во тьме её что-то шевелится, высматривает и, наконец, нечто, едва светлее самой ночи, настигает меня, и под сутаню его, под складками ниспадающего мне на волосы черного перепончатого зонта летучей мыши я с трудом ловлю ртом неподатливый воздух. В пальце моём крючок, в волосах моих коготки летучей мыши. Обездвиженная и ослеплённая, я задыхаюсь в том ужасном ночном наряде.

Мир, лишенный дневной своей суеты, кишит вышедшей вершить свои гнусности нечистью.

А что если день опустошится до бессодержательности ночи? Если весь его скарб рассовать по ящикам домов-комодов, по замершим автомобилям, немым телефонам... Стоит только себе представить, как иду я по такому, обезлюдившему средь бела дня, городу, и меня охватывает дрожь от той его дневной пустоты, и молю я о сумерках, и они благословением нисходят на меня, и слышно мне успокаивающее дыхание спящих людей. Я представляю саму себя одиноким лунатиком, скитающимся при свете мутной луны... и лишь крик петуха, на заре, развеивает мои ночные ужасы. Крик тот, словно вязальный крючок кружево, пронизывает вживую меня, насквозь. Крик долог, пронзителен, резок, он растекается по всей округе на высокой, пронзительной ноте и нет ему конца, а под ним внизу лишь униженные и оскорблённые, да преданные земле. И хотя вот она я, да не в силах кому-либо помочь. В левом верхнем углу окна холодно светится звезда, резкий паровозный гудок целиком заполняет меня изнутри и, мгновение спустя, выплёскивается наружу. Паровоз пыхтит, размазывая по перрону свою колышущуюся тень, в распахнутых дверных проёмах товарных его вагонов сидят, болтая ногами в пустоте, солдаты, что-то распевают снующим по платформе, угрюмым, озабоченным и отчаявшимся. Среди них никому ни до кого нет дела. Поезд трогается, вздрогнув перед тем всей своей громадой, оставляя на каждом стыке звучную отметину. Я в тамбуре, глаза на уровне мешающих дышать мне спин. Поезд тормозит, в тамбур поднимается женщина в униформе, она принимается проверять багаж, а я говорю, бессвязно и без умолка, что это, мол, не граница, нет здесь границ, никаких границ... И так до тех пор, пока всё и вся не обрушивается в бездонную дыру...

Тишина... На слух она то же, что и тьма для глаза, что-то из небытия. Значит вокруг меня небытие. Пока всё вокруг – аллеи, газон, массив леса - не обратят в явь всполохи тепла, неистовые и неуступчивые. И тут, и как всегда «вдруг», своей божественной песней вторгается в тишину незримый соловей. Как же я её ждала! Едва не в отчаянии, в большом, нежели когда-то ожидала появление блистательной Калласс у гипнотической рампы «Опера».

Что ему рампа, на что микрофон этому подарку в ночи...

*«Ах, как скоро постучалась в двери старость,
Не споёт мне, видно, большей соловей...»*

В голосе напевающего старинный романс, слова которого я и не чаяла уж вспомнить, слышится мне соловьиное пение.

Из невидимого во мгле ночной приёмника течёт мелодия. Свет так никто и не зажжёт, из нежелания навлечь мошкар, должно быть, хотя нет... условлено же здесь всё наперёд. Говорит тот, кто ближе всего к приоткрытым в парк дверям, по крайней мере, голос доносится оттуда, и там можно кого-то, если и не без труда, но различить:

- Придёт день, наполнит всё светом и гамом. Вы бывали в краю белых ночей? Без темноты доходят до потери рассудка, все становятся непредсказуемыми, как лунатики. Веки, что прозрачные шторы, с ролью не справляются, уснуть невозможно...

Кто-то другой, рядом с первым:

- А мои становятся оранжевыми, с синими прожилками.

- В белую-то ночь?

Повисает тяжёлая пауза, прерываемая голосом от двери:

- Жизнь в ночи, во тьме её... а не то, что представляется человеку деянием его. Всё и вся ведомо лишь тому, кто ночью бодр. Вообразите-ка себе день, длиною в жизнь и под несносной белизной небес, навсегда умыкнувшей и солнце, и тьму, вот уж пытка так пытка. Хочешь ли, нет, а смотри, ничего не познавая «на ощупь», ни разу не сыграв в прятки... Ни уголка укромного тебе, чтобы схорониться, ни ряженных, ни тайной вечери. А что, и власть тьмы к упразднению? Звери в спячку уходят, зарывшись в землю, значит и нам копать норы, и там, и хотя бы рукотворную ночь себе отыскивать? Но всё же обернётся притом выдумкой, всё чуждым обернётся: и день, и ночь, и сны, и думы...

Огонёк зажигалки рисует губы, ноздри... и это означает, что там, за всем за этим, кто-то да есть.

- Надобно бы нам бессонницу переносить научиться ... - произнёс голос той самой, неприметной дамы, – я говорю именно *переносить*, как терпят в ожидании анальгетика боль... В пору моей молодости снотворное не употребляли, я о нём слыхом не слыхивала, а чтобы заснуть, читала пустопорожние книжонки, из тех, что выбрасывают обычно в мусорные корзины, подобно разовым носовым платкам. А не то, и подумаешь о чём-нибудь, барашков в голове пересчитаешь, волны на море. Меня в то время ещё и от серии «Чёрный квадрат» не мутило.

Кто-то коротко хихикает. В наступившую затем тишину тут же снова просачивается музыка. Каждый, казалось, задумывается о своей личной бессоннице: одним представлялось, что заснув, они просыпались среди ночи и уже не могли сомкнуть глаз, другие напротив, томились всю ночь, обретая сон едва не с рассветом. Одни забывались лишь под снотворным и во сне пребывали после, день-деньской, другие, напротив, опасаясь любых снадобий и искусственного беспамятства, от долгой бессонницы погружались в хмельную одурманенность и начисто лишались сновидений. Но снотворное, разве не также оно убивает сон, как и бессонница? Доносившуюся откуда-то восхитительную мелодию пререзает чей-то храп, и всех охватывает робкая неловкость: в их возрасте и без того полным полно доказательств этого самого возраста, не хватало ещё и заснуть при всех, в такую-то несравненную ночь!.. может такой уже никогда и не будет... Все они смотрели в сторону парка, на тёмную гущу его и на лоскуты неба, ярко вспыхивающих под всполохами зарниц.

Кто-то обронил:

- Что-то не припомню я такой тёплой ночи, раньше ничего подобного, кажется, не случалось, а если и бывало, то верится в это с большим трудом. Такая ночь после дня, пропахшего потом и бензиновой гарью, с толпой... в городе, полном забытых у красных светофоров перегретых, будто чайники с выкипавшей в них водой, готовых вот-вот расплавиться машин, с родни благословлению. С приходом ночи гаснут огни, и вот вам и сумрак, и бархат прохлады и благовония...

Голос тот - наваждение моё, он смутно пробивается сквозь толщу минувших лет, и я едва его припоминаю. Каждый вечер я выскакиваю из поезда на перрон маленькой станции, на которой мало кто сходит, а поезд лишь обозначает остановку. Переходя рельсы по железнодорожному переходу, машу ему вслед рукой. И каждым раз по-новому рада вдыхаемому воздуху, спокойствию блекнувшего, сходящего «на нет» дня, и

высвобождению из города, в «никуда» удалявшегося вместе с перестуком колёс последнего вагона.

Со станции ухожу лесной тропой, мну траву, пахучая ветвь освежает лицо, шею, руки, рот мой полон запаха мяты... Где-то позади осталась беспросветная канцелярская суета, старые бумаги и досье, все эти увлажнённые подушечки с марками и никому уже не надобные в век электрических пишущих машинок и диктофонов чернильницы. Недавно одной такой я запустила в голову шефа, уподобившись Лютеру в его стычке с дьяволом. Я, как выжатый лимон, дорогие мои родители, я несу вам добрую весть, несу её туда, в конец тропинки, там на опушке стоит домик, наш домик.

В городе у меня есть комната, но я там не ночую с тех пор, как на дверях прямо под кнопкой моего звонка кто-то оставил надпись: **шлюха**. Должно быть консьерж. Он считает, что ко мне ходит слишком много мужчин. Но я не шлюха, Бог тому свидетель, хотя ко мне и заходят мужчины, и не один и ни два. Когда мне как-то позвонила мама и попросила прислать сиделку, и едва я успела положить трубку, тут же перезвонила, чтобы просьбу свою отменить, консьерж, а звоню я из привратничкой, своего телефона у меня нет, одарил меня таким взглядом, словно хотел сказать что-то вроде, «и это всё на что ты способна, да ты хоть понимаешь, что отец твой умирает»? Ни на что не была я способна, ни о чём я тогда не задумалась, не возникло у меня никакого желания искать какую-то сиделку, я даже не задалась вопросом, чтобы всё это значило. Да, я была бессердечной, я и чувствовала, что нет у меня сердца. Мои отец и мать занимались мной, но я не была их любимицей. Я о том не знала, вернее, я верила в то, что не знаю о том ничего, а на самом деле всё знала. Так что это именно консьерж, конечно же, он написал под кнопкой звонка на моей двери «шлюха». Не забыть мне его взгляда, брошенного в мою сторону и эти его слова «можешь не искать сиделку... это уже ни к чему...». Я их повторила, передразнивая его, и он снова на меня посмотрел, как бы говоря: «бедная ты бедная, ты же не настолько глупа, чтобы не понимать, что он умер, твой отец, понимаешь – умер!» И написал под моим звонком: «шлюха».

Я молча шагаю лесною тропой. Никто и никогда не испытывал такого блаженства ни от тропы, ни от леса, по которому та бежит. Я, сирота и потаскуха, вправе на счастье подобного рода. И мне всё никак не удаётся добраться до него, до лесного того домика, и я всё иду и иду к нему, а он всё удаляется и удаляется от меня. И нет ни конца, ни края ни ночи той, ни прогулке моей. Под ногами моими пена, я не вижу её, но знаю, что

под ногами у меня всё в зелёной пене, в ядовито-зелёной пене, и я никак не дойду до того пустынного домика. Я могла бы криком кричать, могла бы раздеться донага... в том лесном саду ни души! Лишь деревья вслед за ветром склоняют головы, да соловей поёт, для меня одной поёт, да травинки щекочут мне ноги, и я не могу удержаться от смеха, и смеюсь...

- Вы смеётесь?
- Да, задумалась вот, знаете ли.
- Счастливая! Смеётесь, задумавшись!
- Об одиночестве наваяло...
- Потому и рассмеялись?
- Поняла, что мечтаю.
- В этом что-то есть. Да, но вам ли о том печалиться!
- Скажите уж сразу, что, мол, шлюха я.
- Полноте... о чём это вы?
- Извините, видимо я увлеклась...
- Ну, так-то оно лучше...

В их беседу вклинивается голос из транзистора: «Вот и первая ваша спокойная ночь... сон ваш под надёжной защитой... лучший из противохандринов...»

- Нет, вы слышали?! Ну не чудо ли?! Антихандрин!

«Матч наиважнейший... пока ничья... мяч у команды из Сент-Этьена... перехвачен игроками «Жиронды» из Бордо...»

- Что это они среди ночи играют?
- Просто это не совсем обычная ночь...

«Спустя четырнадцать минут после начала матча...»

- Пожалуйста, переключите на что-нибудь другое...

Надсадный оркестр... затем рулады, похожие на напевы сестёр святой Клариссы, тягостные, мрачные, дикого зверя, и того к трепету побуждающие... Всё вокруг замирает в оцепенении, лишь красноватые сигаретные отметины вычерчивают замысловатые, пересекавшие одна другую траектории, будто самолетные огни в ночном небе, но столь далёком, что и не слышен рокот их моторов. И такое непоколебимое устанавливается спокойствие в этом уголке интерьера то ли парка, то ли насквозь прозрачного, словно из стекла сотворённого дома, что и мысли становятся слышны.

- Ночь за ночью... едва не всю жизнь, и всё одно и то же...

Это голос тенора, одного из тех, кому она благоволит. Ей доподлинно известно, что его обладатель голосу тому вовсе не соответствует, и должно быть благодарен укрывавшей его ночи.

- Но и изо дня в день, представьте себе, всё тоже самое...

Постукивание трубкой по крышке стола, то значит Денис, профессор, он в соседнем кресле.

- Так-то оно так, - голос тенора в ответ – да... но за малым исключением: ночью все кошки серы. Эти ночи, ведь они же все на одно лицо, они как пустынный остров.

- И чего же вам не хватает, на пустынном том острове? – интересуется профессор. – Телефона, кино, световой рекламы, такси? Чёрный цвет, да будет вам известно, оттенками богат. Вы, что же, с детства ночь-то не приемлете? При её-то разнообразии?

- Ну, да - вступает в разговор хозяин дома, толкавший перед собой сервировочный столик, уставленный бутылками и бокалами – свадьбы и прочие кутежи могут не смолкать всю ночь, но лишь до утра: в день они деньской не выливаются, и утреннего целомудрия никогда не затрагивают. Я вот тоже, предпочитаю творить при ночном освещении... не долюбиваю, знаете ли, дневного, с сюрпризами его! Задумайтесь-ка о числе ночей, что выпадают на одну жизнь, а много ли приходится на них утрат и невзгод из общего их вороха?

- Вдумайтесь-ка в смысл слова *бессонница* - вернулась к своей мысли дама – нет же слова *сонница*, ночь сонницы... Эй вы, знатоки языка, есть ли у меня право на эту самую *сонницу*?

Но они, конечно же, ускользнули, эти мэтры словесности - по дорожке, за прозрачной стеной, проплыла пара теней.

- Отчего это на мои вопросы никто и никогда не отвечает.

На фоне ноющего в транзисторе бессвязного бормотания собственный голос показался ей излишне громким, и она тут же перешла едва ли не на шепот, заверяя всех, что и ей доводится терзаться угрызениями совести, что даже в такую ночь не удаётся позабыть о письмах, что остались безответными, о всём обещанном, но не исполненном, о скопившихся бумагах, книгах, и прочих вещах ею не разобранных, не устроенных в порядок или не отложенных на выброс. Всё это под конец долгой жизни становится схожим с огромными грибами, пустившими корни по омертвевшему, выщербленному дятлом остову дерева. Но при избавлении от того мёртвого бремени, которое когда-то состояло для вас из дорогого и необходимого, всенепременно порушится и то единственное, что могло стать ещё нужным, за что держишься из последних сил. По набитым шкафам, на в «сплошь» увешанные картинами стены, на расставленные всюду и везде безделицы и сувенирчики, да что безделицы, по жизни самой слоятся песок и обломки кораблекрушений, ракушечник и медузы, водоросли, и морские звёзды, и совершенно непонятно как теперь от всего тогохлама освободиться. Не оплачена, похоже, страховка, и очень может стать, что дом вот-вот загорится... и лучше не садиться за руль, поскольку есть предчувствие, что можно не вписаться в вираж, которыми заполнен путь, и тогда... больничная постель, страдания и инвалидность по выходу... Наговорила, в общем.

- Прелесть моя! В этот раз не вы поведёте, этим займусь я и в любые повороты впишусь. А на исходе этой несравненной ночи ...

Знакомые нотки, чей это голос, хрипловатый, властный? Что слова не всем различимы, так то и лучше - такие сходны либо с прописываемыми в конце всякого письма или же, будучи исполнены без фальши, заставляют терять голову.

Пронзительным всполохом молнии прочерчивает небо луч света, отчего саму ночь бросает в дрожь, и тут же сыплется пробной трелью соловей, затем, распаясь, ещё одной, и ещё, и те сплетаются в нежную и неповторимую мелодию. Колышется, едва не касаясь лица дамы, чья-то, разгоняющая дым рука. Кто-то поднимается, тренькает о стенки бокала льдом. Тут же аккорд гитары аккомпанирует ночи, резонирует в грудной клетке.

- Гитара, что птичка певчая, ночная, - то голос тени, той, что с бокалом в руке, - единственная и верная подруга одинокому тому мужчине, кого ты не пожелала...

Он что же, говорит всё это ей? Это же, в конце-то концов, голос её мужчины, с кем сорок лет тому назад была она обручена. Это его, явившийся из далёкого минувшего, голос:

А ну, скажите: «жизнь моя», - и удержите слёзы...

И за тем долгое, до краёв наполненное гитарой молчание. Разрушает его профессор, любитель трубки, в свойственной ему манере:

- Обожаемая вы наша, не позабудьте, что прошлой ночью не было у нас ни бессонницы, ни этой самой «сонницы». И ещё, припомните-ка, мы собирались посчитать выручку от Празднества по случаю Дня рождения. А ему вы и так всё своё время посвятили, благотворительница вы наша...

- Что за дерзость с вашей стороны...

- Уж позвольте, досточтимая госпожа повелительница, но мир, по сути, и есть своего рода благотворительность. Вечеринка должна принести миллионы, и всё предстоит поделить, на четверых. Апробированная и надёжная система. Это старинная игра, только с иными счетами и счетоводами, но традициям мы остаемся верны.

- Все эти счетоводы и счета, с порядочностью их, дорого всё это обходится, а я желаю выручку получить целиком.

- Ну, хорошо, хорошо, вы, как всегда, правы. Выигрывают-то доверчивые, да безалаберные и неорганизованные. Один мой приятель разбрасывал свои деньги где попало, то по каким-то конвертам, то в столе, то в шкафу, к тому же не запертых, и так до тех пор, пока не съехал в новый прекрасный дом, в котором имелся сейф, замурованный в стену ванной комнаты. Ну, так вот, он и уложил все свои денежки в тот самый сейф, а в один прекрасный

день их у него все и украли. Он, видите ли, вместо разбрасывания денег повсюду, принялся где попало бросать ключи от того самого сейфа, а ключи, они же ещё менее надёжны, нежели сами деньги... Вы, любезная, спите?

Вчетвером, да все четверо, сидим в ресторане, деньги в чемодане, под столиком. Празднество предстоит оглушительное, все в предвкушении. Я беспрестанно нащупываю ногой чемодан с миллионами, боюсь, как бы их у нас не умыкнули, в голове моей вертится история с сейфом и валявшихся у всех на виду ключах от него, я понимаю, что есть чего беспокоиться и пододвигаю, и вновь убираю ногу от чемодана. Притом мне понятно, что это сон, мне снится, что я голодна, хочется всего, что есть в меню, и ресторан тот не абы какой, однако, отчего же меню-то написано от руки и фиолетовыми чернилами, как в каком-нибудь бистро? Чернила расплылись, ничего не прочтёшь... гусиное рагу с бобами? Салат из помидор? Рубец? Прямо, как в скверной дешёвой корчме, приносят что-то колбасное, но жесткое, лишь вино, белое, настоящее, парижское, холодное и лёгкое, таким я помню его с детства, теперь его уже нет, а сухое вино мне не по вкусу, хотя это и едва ли не граничит с невежеством. Оплата пирушки на последнее - содержимого чемодана не касаемся - от того скудна и трапеза. Во рту неприятный привкус, жаркое из баранины чесноком нашпигованное, должно быть, тому виной. Деньги считать отправляемся не к себе, а не ясно к кому, у них есть большой круглый стол, но нет консьержа при входе. Я всё ощупываю ногой наш чемодан. Комната через нишу в стене объединена с кухней. На ней готовит кофе... Мария-Луиза. Я о ней и думать-то позабыла, а она кофе нам готовит. Но Мария-Луиза ли то или Ё-Ё? Этот вот - Роберт, точно он, приятель Мари-Луизы, давно уж почивший, а тоже здесь, в этой студии с кухонькой... Так, а тот мужчина, уж не Борис ли, доктор и муж Ё-Ё? Он, безусловно он... но только, позвольте, он же умер... Четвёртый, мой муж, молод, красив, вываливает содержимое чемодана прямо на круглый стол. А через огромное окно я вижу, что нас несёт сквозь необъятную черную ночь и внизу, под нами остаются и Сакрэ Кёр, и Сена, со всеми её мостами, баржами и шаландами... И поднимается к нам снизу крик, он прокалывает меня насквозь, крик тот бесконечен, однотонен, он словно нить вдетая в игольное ушко, и та игла это я. Мы, все вчетвером, на летящем ковре, и с нами круглый стол, а на нём разложенные по конвертам деньги. Роберт и муж мой беседуют, о чём-то разглагольствуют. У Роберта глаза чучела птицы – круглые, желтые и сверкают – одним словом необыкновенные, таких не

встретишь. На Марии-Луизе пёстрое оперение, серовато-розовое, она достаёт деньги из конвертов и раскладывает их по пакетам. Руки у неё покраснели и потрескались, должно быть в детстве она их обморозила или ошпарила кипятком. Мне становится дурно от одного их вида. Мужчины говорят о пирамидах, так заумно, что ничего не понять. «Послушайте...» - начинает было Мария-Луиза, и тут же все оказываются за столом. Появляются бумага, карандаши, начинаются подсчеты. На конвертах начертаны цифры, но они не совпадают с теми, что выходят в подсчетах. Совсем не сходятся. Вообще не сходятся. Всё пересчитывается, считают ещё и ещё, и снова всё пересчитывают. На это уходят часы, но ничего и ни с чем не сходится. Комната, покачиваясь, куда-то медленно катится, деньги превращаются в золотые монеты, если только это не глаза умершего Роберта выпадают на стол и катятся вместе со столом, а мы все хором что-то напеваем. Чтобы золотые те монеты не сваливались со стола, мы, взявшись за руки в круг, обнимаем его, и происходящее становится похожим на сеанс спиритизма. Я тоже, как все, считаю, но для верного счета мне приходится прилагать невероятные усилия, чтобы припомнить таблицу умножения: семью восемь, девятью девять, восемью шесть... но к чему всё это? Мне же нечего и незачем умножать, но другого, видимо, не дано, и вместо того, чтобы прибавлять, я множу и сгораю со стыда. Передо мной колонки цифр... я записываю их химическим карандашом, но они расплываются в капающих на белый лист слезах, так что я не в состоянии их уже и прочесть, фиолетовыми чернилами полны мои глаза, ими набухли мои пальцы. Громко, набатом, бьют настенные часы, а я всё никак не могу обрести уверенности. Что же всё-таки это было, бой часов или набат? И за стеной... что они там, за этой стеной, делают?

Все мы, муж мой и я, Ё-Ё и доктор Борис, оцепенев, вслушиваемся. Замерли руки на деньгах и полные денег. Дверцы шкафов запирают? Крышки ларей заколачивают? Молотки же не обивают войлоком, но те, что за той стеной, в войлоке, всё за стеной происходит как бы украдкой, в тайне, шёпотом, даже звуки дыхания и шагов.

Вокруг нас плотной стеной колосится настороженность, и деньги оборачиваются в грязную наживу злоумышленников. Но нет нам дела до подозрений, мы вновь принимаемся за подсчеты. И снова ничего и ни с чем не клеится. Я в отчаянии... «Да это же всё чепуха, - откликается доктор и кладёт уверенную свою, прохладную ладонь мне на лоб. – Успокойтесь, здесь я...»

- Нет, нет... я не сплю... задумалась о чём-то ... так, на минуту...

- Припомни-ка, - заговорил мой муж, - тот случай, когда мы подсчитывали денежки после Празднества с Борисом и Ё-Ё. С того дня небось с полвека уж минуло. Помнишь ли ты, что в соседней квартире убийство случилось? А мы в это время денежки считали, в сложении упражнялись... В соседстве с тобой непременно что-нибудь да случается. Представьте-ка себе сей дом в разрезе, нас четверых, тонны денег, убийцы, жертва, и все прочие на ложах собственных - кто любовью занят, кто спит, кто пробуждается...

Уже четверть века не виделись они, и теперь, этой ночью, снова друг друга, благодаря небесам и стараниям хозяина дома, не видели. Никаких воспоминаний о любви, о горе и радости с ней связанных: взывай к ним, не взывай, а их не вернуть. Оттого, что ты припомнишь, что когда-то был у тебя полный ряд зубов, вновь их не обретёшь, может и к счастью. От встречи с самым главным своим мужчиной, с мужем своим, не испытала она никаких чувств, лишь осознала, что парой супружеской были они ужасной. И вот она, эта ночь, спустя четверть века неведения о нём, кроме того, что можно было почерпнуть из газет. Вторично был женат, обитал где-то в Скандинавии. Этой ночью ей предстоит подсчитать доход от Дня рождения с профессором - муж её политику оставил, но бывшая известность не позволяет ему опуститься до подсчета доходов от какой-то там вечеринки. Нависла странная тишина. Даже умиротворяющее похрапывание, и то притихло. Никто не говорил, но один за другим меняли позу, как если бы ворочались в постели, хотя все оставались в прежнем положении: кто-то сидел, кто-то стоял, иные разгуливали снаружи, по широкому крыльцу... Рядом оставался лишь покуривавший трубку профессор:

- Не желаете ли пройтись?

Он помог ей выбраться из кресла, чересчур для неё низкого, чтобы справиться с этим самой, и они вышли в ночь. Луна, перебравшаяся чуть выше, освещала теперь и всё крыльцо, и те три ступени, что вели в парк.

- Очаровательно, - молвила она, - заметьте, насколько точно оно по смыслу, это слово, полное чар, не правда ли?

Они направились по аллее густых, аккуратно стриженных по верху буков. Её слегка подрагивающая рука - подрагивала та у неё на манер руки, вдевающей нить в ушко иглы едва ли не всегда – опиралась на грубоватый рукав своего спутника, благоухавшего дымком английского табака. В самом конце аллеи, что едва ли, как казалось ей, не на краю света, брызгал в морскую раковину тонкой струйкой воды, напоминавшей изогнутую, тихо шелестевшую нить, дельфин. Каменные скамьи всё еще хранили тепло, всё, что было слева и справа от них, оказалось наглухо закупорено сумерками,

охваченные же цепкими их когтями оранжереи до краёв наполнила своим светом луна, отчего всё через них смотрелось, будто сквозь лупу.

- Может, поговорим о покойнике...

- Конечно, Дени².

- Ах, как мне это по душе! Я имею в виду это ваше: Дени. Я и сам, знаете ли, назывался Дени, не обращая внимания на возраст.

- Что ж, пусть будет Дени, профессор. Вот мы и одни, светло... как днём. Всё вокруг ясно, всё памятно. И о трупах... помните ли вы ещё друга нашего Бориса, доктора, Спасителя? Не многовато ли покойников, Дени?

- Покойник не труп.

- Верно. Но не о нём думала я, говоря: труп. Я о Лясурсе³. Труп, это когда кто-то мёртв, как Лясурс. Вы его помните, Лясурса-то?

- Помню. И Бориса помню, и Лясурса. Что с ним случилось, с последним? Поди, позабудь Бориса, теперь уж не знаешь к кому и обратиться, когда занеможится.

- И с Лясурсом то же, и он незабвенен. Человек, каких поискать... Знали бы вы... в войну... а накануне войны... таких поискать. Как-то ночью звонит у Бориса телефон. Вы послушайте, это же целая история. Так вот, звонок значит, у Бориса... всё, как в доброй половине полицейских детективов: «посреди ночи прево был разбужен телефонным звонком». Борис спал в прихожей, на канapé, его уже начали посещать ночные кошмары, и он не хотел докучать ими Ё-Ё...

- Ах, ну да, ещё же и Ё-Ё... та ещё штучка. Вот она-то никогда не задумывалась, докучает или нет Борису. Знаете ли вы, что одно время Борис ходить не мог, ноги отказали. На юг тогда его пришлось даже скорой помощью доставлять. Мне довелось быть там, когда Ё-Ё телеграмму получила: любовник её попал в жуткую аварию, на машине... Ё-Ё то чувств лишалась, то рыдала без удержу. Так вот... нет вы дослушайте, Борис поднялся, пошел, дотащил свои и её чемоданы до вокзала, забрался вместе с ней в поезд, и всё это лишь ради того, чтобы доставить жену свою в Париж, к госпитализированному любовнику. Единственная его миссия заключалась в том, чтобы блюсти Ё-Ё, удерживать её от неосмотрительных шагов. А она, знаете ли, умерла, мне совершенно случайно известно стало. Извините, перебил я вас, продолжайте, мне интересно...

² во французском оригинале имя пишется как *Denis*, ассоциируясь с именем Святого Дени (Saint-Denis), по преданию лишенному головы на горе Монмартр и дошедшему с нею в руках до предместья, где была возведена в последствии базилика его имени, ставшая усыпальницей королевского двора Франции (здесь и далее - прим. переводчика).

³ во французском оригинале это имя написано как *Lasource*, что следует понимать как - *La source* (что в переводе означает - источник; начало; точка отсчёта).

- Вот и я говорю... Звонит, значит, среди ночи телефон, у доктора сна как ни бывало, к тому же, в обязанности любого врача - готовность подняться по первому же зову. В телефонной трубке сбивчивый женский голос: «Доктор! Тут мужчина... умер, нужна ваша помощь. – Где? – Булонский лес...» - отвечает та, но Борис в замешательстве: отчего это вызывают его, а не скорую и полицию? А женщина плачет и шепчет: «Это друг ваш, Лясурс!» Представляю, как сбрасывает Борис на коврик в прихожей свои тощие, длинные ноги, как зажигает свет, хватая карандаш, где в точности в этом лесу, спрашивает, женщина сбивчиво, вы знаете, как это у женщин бывает, поясняет и тут же кладет трубку. Борис задаётся вопросом, а не шутка ли это чья-то нелепая... Он так и не уразумел, где всё-таки то место, куда ему надлежало ехать, но раз уж умер Лясурс, - рано ли, поздно ли, а должно же было это случиться - то натягивает на себя невыглаженные панталоны, ноги суёт в нечищенные штиблеты... да вы и сами всё это видите, отсюда... торопится, однако... Господи, как подумаю о том, так и слёз не удержать... Когда что-то было не так, и мне доводилось спать на том канapé в прихожей, помните, Ё-Ё там свои ракетки и подштанники разбрасывала... Что бы попасть в ванную комнату, приходилось проходить через спальную, ночью там без провожатого велик риск был голову обо что-либо из мебели, не знавшей места своего постоянного, расшибить или же ногами во что-нибудь из белья Ё-Ё запутаться. В ту ночь проснулась и она, и Борис вынужден был объясняться, отчего он встал и одет. Тронула и эту Ё-Ё смерть Лясурса. Бедный Борис! Он места себе не находил... вот и позвонил мне, чтобы не одному идти, Бог знает куда, да и с Ё-Ё могло приключиться всё что угодно. Он заехал за мной, и вот едем мы посреди ночи по улицам в Отёй⁴, а я никак не сподоблюсь позабыть всю эту историю, более похожую на старый фильм, с потертой киноплёнки. Погода стояла по-зимнему отвратительная, Отёй был пуст, всё в нём спало сном праведника, ни сомнений тебе никаких, никаких угрызений совести - ничто не нарушало того сна...

- Вот только без политики, пожалуйста!

- Отёй не ведает бессонницы в уютных своих простынях... Ох, и поплутали мы тогда по лесу⁵! Борис же так до конца и не поверил, что женщина по телефону не сказки ему рассказывала... сумасшедшая какая-то... так ни разу и не остановились до самого озера, покрутились вокруг него. Ночь стояла, хуже некуда, лес отряхивался, как промокшая собака, но окна прикрыть было никак нельзя, иначе они тут же запотевали. Борис повторяет по памяти те указания, что наговорила звонившая: ...доберётесь до беговых дорожек... поверните... езжайте... увидите узкую аллею... Я вся вне

⁴ - один из самых фешенебельных районов Парижа, 16-ый округ

⁵ - имеется в виду Булонский лес.

себя: и зачем нужно было Борису на помощь к этому бедолаге бросаться? Помимо всего прочего тот мёртв. Но Борис противится моим доводам ссылкой на медицинскую этику. Пробую вставить что-то своё, но Бориса уже не остановить... и мы летим в тартарары...

Она неожиданно умолкает, и эстафету тут же принимает что-то нашептывающая корявая струйка, буравчиком, неведомым жидким насекомым ввинчивающаяся в ухо.

- Так он умер?

- Нет, он не умер. Недалеко от нас стоял его *Мерседес*, и никакой там тебе аварии. Он сидел внутри, на месте водителя, с откинутой назад головой и не двигался. Доктор установил, что он не был мёртв. Мы перетащили его на место пассажира, на место смертника. Тот всё ещё дышал. Борис устраивается за рулём, я собираюсь влезть к нему на заднее за водителем место, но тут объявляются, на мотоциклах, двое полицейских. Должно быть мы вели себя весьма несдержанно... не так, как у злоумышленников, как мне кажется, это бывает... а тут зажженные фары, хлопанье дверей, шум моторов, громкие голоса... Злодеяние, оно же должно в безмолвствии вершиться. А нам море по колено. Ну да что там... Вот они, флики! Тут уж и криминалом пахло... и это их мерзкое: «ну, что тут за дела?» И фонарями своими в лицо... «Авария», - отвечает Борис, и выходит, будто это мы сотворили из Лясурса живого мертвеца. И полицейские подхватывают, с издёвкой: «вы, мол, здесь именно и вляпались как раз из нежелания движение среди ночи осложнять». «Похоже на то», - отвечает Борис, и что вы думаете, слышит в ответ: «Вот и таскайтесь теперь с пьяницей этим сами...» После чего, вы не поверите, уносятся прочь. Уму не постижимо! Намокли, невзирая на непромокаемые свои плащи, с головы до пят, нитки сухой на них не было. Я вела «Мерседес» за машиной Бориса след в след. Мы привезли Лясурса к Борису, тот к счастью жил в первом этаже, вы же помните, надеюсь? Иначе бы нам его не донести... Он же, этот Лясурс, дьявольски был тяжёл! Оставили его мы в прихожей прямо на паласе, с ни на что не пригодной Ё-Ё. Конечно же, Борис дал ему снотворное, ещё что-то там с ним проделывал, а я вызвала скорую, его нужно было переправить в реанимационный центр. И пока дожидались мы медиков, я принялась Бориса бранить... Дескать, в третий раз мы тащим из трясины этого пропащего! Почему бы не позволить тому покончить счёты с самим собой, раз так ему того хочется...

- И потому лишь, что он сам себя, мерзавец, не в силах уж больше терпеть? – парировал Борис. - Ну, уж это без меня, я всё же врач. Я и так чувствую себя теперь, в данном конкретном случае, как бы соучастником смертной казни!

- И чего же такого сделал вам, этот Лясурс?

Она слегка подалась назад на каменной скамье:

- Мне? Ничего. Разве что, доверием порой злоупотреблял. Знала я его ещё молодым... он и я, оба были когда-то молоды... никогда не задумываешься, что меняется человек, цепляешься за что-то из прошлого, когда оказываешься рядом со взрослым, а не то и со старым уже человеком, и понимаешь, что нет в нём ничего от того, из молодости... Я не верила в него в начале его карьеры, даже лучшего друга его как-то допытывала, не правда ли, мол, что Лясурс лишь денег ради пишет в подобном стиле статьи? И друг тот рассмеялся в ответ: дескать, он соглашается брать деньги, но не берёт на себя обязательств. Время всё проясняет. От Лясурса молодого осталось лишь собственное же его осознание, что в нём живёт и здравствует негодяй, которого и сам он терпеть не может. Оттого и эта череда его суицидов. Мы с Борисом всё препирались, скорая всё задерживалась, Лясурс оставался распластанным на полу среди следов собственной рвоты, Ё-Ё на кровати. Бригада скорой подросла, когда совсем уж рассвело, и я кричала Борису, чтобы они обернули того в шелка или в полотно.

- А потом?

- А потом... потом минули годы. И мне стало известно, что Лясурс, который не единожды домогался моей руки, в полицию на меня донёс. Я задавалась вопросом – зачем? Не получил ли чего, с пустыми карманами будучи? На меня завели досье, у меня были неприятности, затем всё улеглось, как-то само собой. Только мало в том забавного, обнаружить вдруг у консьержки вопрошающих о вас фликов в штатском... представьте себе, что вообще интересует фликов и консьержек... это, как если бы комнату вашу вдруг клопы или крысы запрудили. Лясурса я больше не встречала. Всё это до войны ещё приключилось. А потом... оккупация стала для Лясурса чем-то вроде питательной среды для микробов... Поиздержались на нём немцы основательно. При отступлении они прихватили его с собой... правда, добрался он с ними лишь до Зинмарингена⁶, там немцы озадачились уже собственной экзекуцией. Среди прочих он сдал и Бориса, Спасителя: Спаситель оказался евреем, к тому же, туберкулёзником.

Профессор Дени, казалось, и о трубке своей позабыл. По левую от них сторону, за оранжереями, висела, с грустью, словно сквозь слёзы, посмеиваясь над ними, луна, по правую, вплотную к ним, чёрным рукавом судейской мантии подступали сумерки.

⁶ **Зинмаринген** – замок в одноимённом городке, бывшая главная королевская резиденция рода Гогенцоллерн-Зигмарингенов, расположен в Швабских Альпах, в земле Баден-Вюртемберг. В галерее Galeriebau, построенной к западу от замка при принце Карле Антоне, находится экспозиция, посвящённая средневековым орудиям пыток. В замке находится ценнейшая частная библиотека Гогенцоллернов-Зигмарингенов, насчитывающая около двухсот тысяч томов. Самыми старинными и наиболее ценными историческими источниками, хранящимися в библиотеке, являются Legendarium - собрание рукописей XII века.

- Да... мерзкая история, ничего не скажешь... в ваших устах особенно... не нравиться вы мне такой... Не нужно больше о покойниках, если только у вас гадостей похуже не припасено.

Её охватило предчувствие, что ночь идёт насмарку. Сама же, у него на глазах, вывозила себя в грязи... И так всегда, всем следует быть на высоте его несуразных критериев, а судит он, он один всё взвешивает, всему назначает цену, поправляет во всём. Всю долгую жизнь именно это и служило причиной распрей между ними, того самого «почему?» любого несогласия. Обветшавшее раздражение вызывало, тем не менее, желание укусить давнего друга. Ещё чуть-чуть, и того было бы не миновать. Поразительный человек – тюремный надзиратель фанатично преданных, им же и осужденных последователей.

Она поднялась, сделала несколько торопливых шагов по направлению оранжерей, удерживая себя от того, чтобы дать ему пощёчину. На волосы её пал лунный свет, а ставшее степенным вышагивание придало величавости; она удалялась, выделяясь платьем на фоне плотной черноты деревьев, и со стороны казалось, что это ступает сошедшая с пьедестала сиятельная статуя, скрывшаяся затем за оранжереями, смешавшись с деревьями.

Профессор покусывал в углу рта мундштук погасшей трубки. Последовать за ней он не отважился, обозлённый на себя, виноватого во всём случившемся и встревоженного за неё: а что, если она оступится, не упала бы - походка неуверенная, больные ноги ... К чему это ребячество, зачем из мухи делать слона, и чего он такого сказал? Он резко поднялся со скамьи, и гнев погнал его по аллею вдоль буковых зарослей.

Внутри он зашёл под звуки какой-то шумной симфонии.

- Света не зажигаем: мимо рта не пронесёшь, коль есть захочешь, верно, Дени?

То был голос хозяина дома, задушевный и хмельной. Все на месте, за вращающимся столом, сервированным сэндвичами и лунным светом. Ну, а вот и она! Медленно одолевает три ступени, проходит мимо и исчезает где-то в глубине, в звуках скрипок.

Кресло приняло её в себя... плечи, со спины, накрыла боль, эпитрахилью опустила к талии, крест-накрест опоясала грудь. Сердце... Она пошарила в сумочке. Дрожь не унималась. Одну бы таблетку... разжевать, и всё уладится. Всё устроится в обманчивом счастье анальгетика. Ну, вот и чудно! Прикрыв глаза, она скользит по бархатистому пению скрипок, уставшая настолько, что хотелось уйти, забраться в постель. Та же усталость тому и мешает. Остальные всё ещё никак не насытятся, и им идут на уступку, зажигают свечи. Вытянутые, отбрасываемые мужчинами тени ломаются под прямым углом в том самом месте, где пол встречается со стеной. Она же держится особняком. Полумрак от неё ничего не

скрывает, она видит, как сблизилась с ней одна из этих теней – зачерствевшая, скукоженная корка, оставшаяся от схожей с только что вытасненным из печи пышущим жаром хлебом прежней жизни. Не было у неё малейшей надобности видеть их: на что похожи они теперь, при свете дня, знала она и без того – каждый по-своему, но все пекутся о внешнем... Только вот это «хорошо выглядеть» не дёшево обходится, воли требует, энергии, особенно когда выглядеть хорошо хочется в последний раз, перед тем, как одряхление утащит тебя долу. Случались и у неё вечера, полные иллюзий на свой счёт, трагичных краткостью своей. Лишь голос её избежал пагубных последствий свершившегося бедствия. И она оставалась в выигрыше этой ночью лишь потому, что плохой была видимость, но хорошей слышимость. Хотя нет, тот же лауреат нобелевской мира, лихо уплетавший сэндвичи, ведь он хрипло, по-старчески закашливается, а при свете дня выглядит, как огурчик. И, находясь по близости, чувствует она стать супруга и переполняет её радость осознания, что смерть найдёт его таким же, как теперь: изящным, слегка лишь согбленным. А тот поднимает свой бокал и направляется к ней:

- Может немного шампанского?

- Послушай, я же не пью, совсем.

Он присаживается рядом:

- Как мил мне твой голос...

- Ты, как всегда, прекрасно выглядишь, даже морщинки и те к лицу тебе... на меня смотреть нечего.

- Но, что с того! Ты же знаешь - будь ты даже в лепре вся, я бы и лепру твою обожал.

- Какой же ты болтун, право слово! Всегда ты был слишком хорош для меня, всегда я оказывалась на стороне проигрывавших.

- А одержала, в конечном счёте, всё ж таки верх!

- Ну да, согласно опросу ФИОМ⁷, я бы должна быть собой довольна.

Все прочие оставались во власти снети и слов. Оказалось всё это вдруг очень похожим на обычную вечеринку, с коктейлями.

- Жена твоя в порядке? Как дети? Мне кажется у тебя сын, не так ли?

- И две девочки, а ещё куча внуков. Затерялся я среди них, теперь я - всего лишь предок. Обустроился в одном из фьордов, и временами нечто пописываю.

- Наслышана о твоём затворничестве. Тебе же кого-нибудь вроде Ингрид Бергман подавай, что там я? На худой конец Мишель Морган подошла бы, будь та скандинавкой...

⁷ ФИОМ (FIOM) – Французский Институт общественного мнения

Их смех утонул в порыве ветра, закрутившего водоворотом ветви деревьев, забесновавшихся подобно привязанным на цепь собакам, пытавшимся с них сорваться, и в той их суматохе погасли все голоса, даже звуки джаза, заполнявшие только что всё окрест, и те стушевались.

- Бедный соловей... ты его слыхала, только что?
 - Да, я его слыхала.
 - Он так тебе всё и поёт?
 - Да, только не на родном языке. Устала я.
 - Ты чего-нибудь хочешь? Вернуться?
 - Сначала бы отдохнуть немного. Извини меня.
- И он словно бы растаял, прямо у неё на глазах.

Я стою у подножья огромной лестницы, мне предстоит её одолеть, чтобы покинуть дворец Шайо. В душе моей странная боль, только что там поселившаяся, весьма тяжкая, и оттого у меня дрожат колени, да так, что мне не по силам подняться по этим плохо освещенным, пустынным ступеням. Возвращаюсь я с праздника святой Катерины ⁸, позади меня запруженный людьми дворец, все залы, все фойе, все закоулки которого полны потной толпой, безумной в радости своей, подшофе и в немыслимых головных уборах под потолок, пляшущей без удержу. Не одолеть мне этих ступеней, ни за что. Празднование я готовила вместе с мужем, стать ему предназначалось красивым, выдающимся, в нём надлежало принять участие лучшим из лучших... а увидели мы в нашей ложе совсем иной спектакль, и в других декорациях. Всё заменили - за нашей спиной, тайно... Кошмар наяву! Убогая посредственность! Стыд-то какой! Позор! И посреди всего этого мы оба, поруганные, поднятые на смех... Зачем они это сделали? Во что превратились наши друзья, что оттолкнуло их? Для меня это смертельная рана. Мне ни за что не одолеть этой лестницы и не выбраться из этого дворца, на это жизнь уйдёт, нужна вся жизнь, чтобы добраться до последней ступени. Толпа, вдруг и вся, оказывается у меня за спиной, заполняет всю лестницу, снизу доверху. Ощуцаю толчок в спину, меня обгоняют, отирают со сторон. Всё это бегом, перескакивая через ступени, увлекая за собой и меня. Пытаюсь подладиться: ступень, ещё... и ещё одна... Начинаю шататься, словно на натянутом шнуре, хватаюсь руками за воздух, рядом чей-то рукав... И рука, нет, один лишь палец, кем-то протянутый ко мне, и тут же всему приходит конец, я вновь обретаю равновесие. Все вокруг делают вид, что не

⁸ Fete des Catherinettes –праздник молодых женщин во Франции (возраста до 25 лет), не нашедших себе мужей. Празднуется 25 ноября.

знают меня, будто они посторонние. Я балансирую, не сходя с места, и не падаю, а толпа продолжает танцевать, и это за какой-то миг до катастрофы, она ощущается всеми, неотвратимая как неизбежность, и миг этот длится и длится, и нет ему конца. А я всё балансирую, всё балансирую... Поднимаюсь притом ещё на ступень, закреплённую кому-то, кто того даже не замечает, на талии... затем на следующую... и ещё на одну... И на последнюю! И тут по спине к горлу подступает боль, отдается в зубах, в ушах... Я вот-вот рухну и расшибу себе затылок...

Она приоткрывает глаза, сжатая в тисках боли, отчаявшись в пригрезившемся ей отчаянии перед невозможностью одолеть те тысячи ступеней и перспективой рухнуть навзничь уже на первом их десятке. Забава Сизифова!.. Ещё одна таблетка, и снова в забытье анагетика, в неглубокое его подобие сна, лишь бы продлить то видение.

Снова я среди той толпы, преодолевающей лестницу, и я вместе с нею, так же, как и все, карабкаюсь вверх. Я в состоянии блаженства от осознания, что я как все! И вдруг, вокруг ни души, лишь лестница, едва подсвеченная, огромная в пустоте своей. Я присаживаюсь на ступень, прислонившись спиной к мраморной стене, где-то в середине той лестницы... рядом муж, и невозможности мне горе его. Мне невыносимо жаль его, я готова нырнуть под ту его беду, поднять её над ним, унести её от него, она едва не сплющивает его, словно скала. Голова мужа уходит в плечи, вот уже скрылось его лицо, такое прекрасное, на грязных ступенях лестницы остаётся лишь его непромокаемый плащ. На вечеринку шли ухоженными, свежими, в ожидании лучшего... Возвращались ошеломлённые впечатлением чего-то мерзкого, гнусного, великолепии обернулось безобразием. Сидя на ступени пустынной, едва не бесконечной, мертвенно-бледной с голубыми прожилками лестницы, были мы бесконечно несчастны. А толпа шла дальше, увлекая за собой нашу жизнь, оставив нас на той самой лестнице, словно на коленях немощной старухи, укрытой старческой кожей. Бедный мой, бедный возлюбленный! Немало мы с тобой вынуждены были помучиться, чтобы всё устроилось... Посредственность всегда выходит сухой из воды, ничтожества всегда опираются друг на друга. Успех гения нестерпим, язвит и пугает, ранит и сокрушает середнячков - ненавижу их. Я жмусь изо всех сил к тебе, да так, что в спину подступает боль, заполняет меня всю, я насажена на неё, как на вертел, и виной всему моя жалость к тебе, заставляющая меня страдать до самых кончиков ногтей. Что-то

там уже было на эту тему, про пальцы? Ах, да, мне нужен был хотя бы твой палец, чтобы удержать равновесие. А люди всё идут и идут, парами, кучками... никому из них нет никакого дела до нас, сидящих на ступенях, они нас даже не замечают. А смесь жалости с ненавистью сугубо взрывоопасна. Никто не видит нас. Даже художник, прежняя наша гордость, и тот генерал с рыжеватой бородкой, оба проходят мимо, будто нас и нет. Проходят полные выстраданного якобы смирения, благородные и доступные - то, за что они прячутся, ими же и поруганное. Я прикрываю глаза, лишь бы они меня не увидели. Будет ли нам ни так за них стыдно, если пригласит нас художник сегодня вечером к себе... не желаете ли ещё виски, или ещё чего-нибудь? Отворачиваюсь в сторону, упираюсь в стену, сидя на ступенях дворцовой лестницы рядом с мужем, склонив голову. Художник в задумчивости что-то пьёт, рыжебородого с ним уже нет. Тот умер. Однако вместе с художником идёт вверх по лестнице. Они снова у нас за спиной, они там всегда. Воздано им за их прошлую славу, изгнаны и тот и другой, самый что ни на есть рыжий из всех рыжих - заступило безобразнейшее из безобразнейших ничтожеств на их место. Мы же - мы друзья, вот и собрались вместе на прозрачной вилле художника, старые сослуживцы, растерявшие воспоминания.

Эта всеобъемлющая ночь в лесу, обитаемом немыслимой музыкой, лес насыщен ею словно влагой, всё в нём поёт, даже ветви деревьев, трава и небо, звёзды и птицы, и соловей... Я уж больше и не сержусь, я просто растеряна... Не могу отыскать я транквилизаторов, сравнимых по силе с фортепиано, скрипкой, человеческим голосом, саксофоном и тамтамом, тамбуринами и цимбалами. Музыка исходит из всего, испускающего звук своего неповторимого содержания, непередаваемого словами, записью и фиксацией, чем и были озадачены изобретатели магнитофонов и дисков. Звуки шагов, шум моторов, ветер, гром и скрип, шепот и стон, всё это так и не нашло подходящих слов для описания их сути. Да, я растеряна и подавлена, нет более мочи терпеть эту муку, где же ты, протяни же мне свою руку, ну хотя бы палец! Я теряю равновесие, жадно хватаю ртом воздух и опрокидываюсь навзничь.

Она словно бы и пробудилась, но, не заснув перед тем, и оставалась в состоянии полуобморока - полусознания, как если бы вместо реальной действительности перед ней обозначили её лишь точно выполненный абрис. Краткая до бесконечности ночь. Муж при ней, как и прежде, а ещё обладатель тенора – и когда только он тут объявился? - которому надлежало беспрестанно что-либо вещать,

как всегда случалось то на её памяти. Как бы ускользнуть ей от его речей? Она смогла бы окунуться на минуту, оказавшуюся часом, в грёзы памяти. От грёз тех, нужно признаться, оставалась у неё одна лишь тоска да отчаяние, но кто-то по этому поводу уже высказался:

Мечта и жизнь - два зла...

что худшее из них, не знаю...

Оставаясь в том видении, она протягивает руку к мужу:

- Скажи мне, а мы с тобой хотя бы попытались? Всё ли сделали для того, чтобы любовь досталась достойному? Наперекор ветрам, так сказать...

- Вопрос не в том, душа моя, и ответ не таков, - ответил за него тенор. – Всё это сиятельное старичье... - и он махнул рукой в сторону серебра седин, на сияющие плечи и вставные челюсти, сгорбленные спины и сетки морщин...

- Старичье? – переспросила она, - не о возрасте речь, и не в том вопрос.

- Конечно же, нет. Если б нам неведом был их возраст... и послужные их списки... Если бы наш финансист избавил всех нас от девальвации и безработицы, то возраст его не засчитывался бы ему за злодеяние. И надо же было такому случиться, что в нашем коллективе объявился вдруг какой-то финансист! Мозг его устроен так замысловато, что не в состоянии отсечь башку нашим с вами заботам...

- Зато твой неплохо расправляется с финансами! Кстати, а как наши дела? С «финансистом», знаешь ли, всё как-то иначе, не так как с тобой, с ним я чувствую себя как раз в гуще тех самых «сложнейших» химических процессов, что бурлят у некоторых в недрах черепных коробок.

Тенор голосом молодого любовника пропел в ответ, что и с ним случается нечто подобное. И оба бросили взгляд в сторону финансиста, на его одиноко застывшую тень в дверном, ведущем в парк проёме, с повисшей за ним ночью. Рядом с ним, прямо на полу стоял стакан с виски. Они знали, что на свету он был не худощав, как это смотрелось в ночи, но тощ, едва ли не обглодан. И никакого притом рака, ни-ни: лицо свежее, щеки розовые, густая шевелюра, слегка лишь тронутая сединой, прямо-таки парадный портрет с какого-нибудь сановника.

- Вот отчего это, - спросила она, - какой-нибудь старец на портрете может быть столь же хорош, как и в юные свои годы, а рисованная состарившаяся кокотка всегда уродлива? Оттого, что это искусство, дамы и господа...

И про себя отметила притом, что давно уж состарилась. Как же так?! Столь долго сознать собственную старость и не верить в

неё! Думает ли о возрасте своём старец-финансист? У него на то не должно быть времени, целиком уходившего на финансовые аферы. В былые времена иные художества приносили ему немалый доход, он и теперь ещё имел коллекцию некоторых из них, из тех, что ему нравились сами по себе, за которые ему пришлось поиздержаться.

- Наш финансист привёл как-то ко мне на «развал» одного америкюля, так тот отвалил мне такие бабки.... – заметил на это тенор.

Всполох зарницы, и она увидела перед собой развёрстый зев детских своих кошмаров, невыносимых в ужасе своём: голова тенора, только теперь это голова антиквара с блошиного рынка, с белой, в округ шеи, вроде ошейника, бородой и с венчиком седых волос на плечи, до блеска отполированной, будто слоновая кость. Бархатный пиджак, в котором видела она его при свечах на ужине, с него свалился, и из свисавших рукавов торчали крупные его руки. Шарообразное его, как у насекомого, брюшко затянуто панталонами сурового льняного полотна, с расстёгнутыми на поясе пуговками. И эта его манера стоять вплотную и дышать тебе винным перегаром в нос. Хотя, всяк стареет на свой манер, и никто не волен стать во главе того, как и что при том происходит.

- Прекрати пить, - оборвала его она, - уверяю тебя, добром это не заканчивается.

- Привычка...

Она собралась было ему кое-что высказать, но не стала, ни к чему. Все они, старые соратники с передней линии искусства, и, делали ли они прежнее своё дело или же занялись чем-то новым, но стоило им лишь свидеться, как тут же всплывала на поверхность общая их память. Это было частью их юности! Героическая эпоха, свершениям которой завидует нынешняя молодёжь. Живы, не умерли - и сами они, и чаяния молодости их.

Вновь слышались соловьиные трели, гости, казалось, посапывая, подрёмывали. Соловей же самозабвенно отдавался затеянному им представлению, импровизируя на неподвластную никому тему, лишь изредка умолкая с тем, чтобы позволить глубже прочувствовать всё то, что заполняло промежуток между соседними паузами, и приём этот повторялся сызнова и многократно. Никакой прочей из ночных птах не приходило на ум прервать его, всё стихло перед вселенски признанным виртуозом.

А что, если не настоящее всё это, если и ночь, и давние друзья, тот же соловей и тот же парк, с деревьями и запахами его, всё это лишь грёзы её? Если всё в этой ночи не более, чем воспоминания, приходящие во сне? Тут же в её памяти обозначились и стихи, явно переплетавшиеся со всем, что было у неё на уме, что переполняло её естество...

*Те, смутные во времени года
припоминает ли душа твоя,
Являются ль тебе поблекшие о том воспоминанья...*

Она носила в себе ворохи стихов, подобных пергаментным свиткам своей жизни, разворачивавшихся и тут же сворачивающихся перед ней в обратную сторону столь же резво, как оконная шторка в вагоне поезда... Кто-то из прогуливавшихся по парку зацепил ногою при входе стакан с виски и вполголоса чертыхнулся, не желая тем беспокоить кого-либо.

- Не убирай руку...

Её рука очутилась в чьей-то, она различила плечи и голову мужа: полвека минуло с первой их встречи, четверть с последней... но она памятно ощутила упругость и силу его руки своей. Гений жизни противопоставлен: он, подобно алкоголю, убивает, перед тем опьяняя. С доставшейся на её долю ролью комедиантки, уготовано было в том горниле полыхать и ей, но о том лучше и не вспоминать. В кругу людишек от театра и кино выучилась она владению собой, умению «не подавать виду». Ох, уж эти превратности судьбы, с их публичным обожанием, мутирующим в неприятие, а во след за ним и крах репутации, к чему непременно приложат руку те самые «люди», большие в том творчестве мастаки. В случае с ней, это им большого труда не составило. Вот и этой ночью на своих, конечно же, местах и Рожер и Поль, друзья, так сказать... Различить их, этих Поля с Рожером, смогла бы она и в кромешной тьме! Рожер, одна тысяча восемьсот девяносто шестого года рождения, не потерял ни единого волоса, целы и все зубы, пожелтели, но не тронуты, весь в морщинах правда, на шее кожа отвисла, будто лишняя, и легла на отложной воротник складками. Поль постарше, девяносто третьего, подтянут, живот впалый, лицо в сетке мельчайших морщин, как на не доглаженном шёлку, в итоге выглядит лучше, нежели в прежние годы, единственный, кому старость к лицу, это благодаря обильной кормушке, по молодости страдал зубами, они у него гнили, изо рта скверно пахло. Они парой спускались в парк, волоча за собой ворох толков и сплетен о субвенциях, налогах и прочей ерунде. Соловьёю справиться с ними было не по силам, хотя перекрыть их голоса тот старался изо всех сил.

- Твоя рука...

Старо, как мир, но как же памятно...

- Всё пишешь, всегда и везде?

- Боже упаси, мне уж теперь недостаточно оказаться просто с самой собой наедине, просыпаюсь теперь до рассвета, чтобы всё

вокруг спало, и никому бы в голову не взбрело явиться и посмотреть, что я там такое пишу.

- Мне, строки не написавшему, и то табличку с надписью «*don't disturb*⁹» пришлось повесить. Хочу, чтобы и на могильной плите моей было бы начертано – «*Прошу не беспокоить*», - вроде объявления. Наколку бы сделать где-нибудь, что ли... А то, над чем теперь трудишься, станет сюрпризом для тебя же самой?

- Как обычно! Мне же всегда не терпится поскорее узнать, что я там такое напишу. Тут же, не сходя с места. Меня прямо всю трясёт от того, вот и пишу ещё быстрее, переходя едва ли не на галоп. Пишешь и думается: не забыть бы какую мелочь. Как во время съёмки – освещение, ракурс, кадр. Затем черёд прочтения, с ним осознание: крупный план, суть, всё это здесь, на листах бумаги. И ты уже не оценщик, а созерцатель. Господи! А вот и сюрприз! Это танец слов... кружат, увлекая за собой, и противиться им ты не в силах. Пляска висельника! А пишущий и есть тот самый висельник. К тому же, повешенный собственноручно. Вот это-то самое творчеством и зовётся! Умираем от удушья.

И потом, кому уж из нас говорить о сюрпризах? Есть жизнь в настоящем, это когда в ней живут, о ней же пишут, но есть и жизнь в прошлом, когда о том читают. И что занятно: в том и в другом случае гарантированы сюрпризы. Всякий раз, когда доводилось мне видеть тебя - приходившим, уходящим, возвращающимся... снова и снова воспринимала я это, как чудо. Понаожидалась я тебя за всю долгую жизнь свою...

- Ну, времени-то ты своего, душа моя, понапрасну не очень-то и теряла. Кое-что всё же, дожидаясь меня, ты сделала.

- Н-е-т, уделом моим было только одно: ждать. Постоянно, так сказать, пребывать в распоряжении твоего отсутствия. Или же присутствия. От самой меня, кем я на самом деле была, ничего не оставалось, хотя нет... те самые остатки.

- Ложь! А «поэт»?

- Ах да, конечно же, поэт...

И неумолимо, подобно бездонной пропасти, засасывающее разверзлось перед ней прошлое. Она не чувствовала даже, как он осторожно, стараясь не потревожить её - так под бормотание и бессловесные напевы оставляют засыпающих в их же вымыслах малышей - высвободил свою руку. Присутствующие, едва ли не все, вышли в парк. Она осталась совсем одна, в очередной раз, словно бабочка иглоу, пронзённая криком... Тем криком дрожало всё её

⁹ Don't disturb (англ.) – Не беспокоить.

нутро, но в этот раз он распался ещё и на слова, и всё это в ней гудело и стонало...

И она мучительно дожидалась... Тот, другой, всё что-то ей говорил, говорил то, чего она и ждала. Только она ожидала слушать другого. ...

*Возвратись же, прошу,
из тиши неопознанной,
Ожидаю тебя я на каждом шагу ...*

Мне следовало бы высказаться этими же стихами, и я умела ждать. Это был тот самый случай, когда стихи и надежда сплетаются воедино.

Я двигаюсь вперёд, подталкиваемая дуновением ветра, спотыкаясь и не чувствуя под собою ног. Середина августа, авеню Фридланд... и ни души. Асфальт размяк жарой, оставленной полуднем, но подмётки ночи не метят его своими следами, тротуар похрустывает, словно стеклянная бумага, чёрнота его поверхности поблёскивает, будто наждачная обсыпка. Перед тем, как выбраться из своего полуподземелья, с окнами вровень с дорогой, слышу оттуда шаги, одичалое их похрустывание. Никто и ничто не останавливается. Всё куда-то и зачем-то движется. Я жду... Как же я тебя жду!.. Ты не придёшь, никогда. Я же – само ожидание. Ожидание того, кто заведомо не придёт, это как ждать сна. Ни тот, ни другой не являются друг без друга. Потому я и выхожу, вся дрожа, я содрогаюсь в ожидании, словно в приступе лихорадки или же страха.

Я не осмеливаюсь взглянуть в небо, есть ли луна или же её там нет, звёзды или тучи, ничто не имеет смысла над авеню Фридланд... Я не поднимаю головы, разглядывая свои ноги, и стараюсь идти прямо, как по верёвочке, вдоль кромки тротуара и крутых стен. Вечернее моё платье никому не в диковину, нет кому тут удивляться, а я и надела его, чтобы отвлечься. Для того тротуара оно коротковато, и чересчур открыто. Уличные девицы не носят тряпье с вышивкой, как то, что на мне. А есть ли скамьи на этом тротуаре? Так, мне следует вернуться, что-то сердце забарахлило...

На краю тротуара останавливается какой-то субъект. Он застыл при виде одинокой женщины или не знает, куда ему идти? Вот он, небольшого роста, грузный, одежда на нём явно с чужого плеча, вся в мелкую и крупную клетку. Клоун, да и только! Стоило

мне оказаться вровень с ним, он произносит: «По стаканчику, мадмуазель?» Явный американский акцент. Себе на удивление приостанавливаюсь... «Может в койку?» - продолжает он. Я не отвечаю, очередь его: «У меня сёстры, мадмуазель...» Ну и что... Трогаюсь с места, он вышагивает рядом.

- Я страдаю бессонницей, - говорю я ему - очень трудно спать, когда ждёшь кого-нибудь, кто не приходит.

И я всё, всё ему рассказываю. Может оттого, что он не понимает французского, я разговорилась, как тот чеховский возница, только что схоронивший старшего своего сына и о горе своём пытавшийся поведать всем своим пассажирам. Но никто не слушает его, и он о том пересказывает, вечером на конюшне, лошади. Американец для меня и есть та самая лошадь.

- Не хотите взять меня в мужья? – спрашивает вдруг он.

Застываю на месте, смотрю на него, и меня охватывает хохот. Я не могу его, этот хохот, унять. А тот мужчина стоит напротив и даже не улыбается. Достает из кармана визитку, ручку, что-то на визитке надписывает, и протягивает её мне:

- Улетаю в субботу. Если решитесь, я в отеле «Скрайб¹⁰» остановился. Вместе и полетим, вы и я.

Смех как рукой смахнуло; принимаю визитку, благодарю. Обмениваемся беглыми взглядами, я поворачиваюсь к нему спиной и ухожу в обратном направлении. Слышу удаляющиеся его шаги, словно он бежит от меня.

Полуподвал на прежнем месте, эдакий маринад в бокале безмолвия. Снимаю с себя утренний наряд, облачаюсь в ночную сорочку, укладываюсь и принимаюсь пересчитывать уличные фонари.

Вот и всё, чего дождалась она от этой жизни... Все ушли, пока она спала, удалились как мыши на цыпочках, лишь бы её не потревожить. Вот она и одна, пробует переждать чего-то, видимо время. Сцена больше в ней не нуждается, публика озлобилась. Слоняться вокруг да около, всеми брошенной, выведенной из обращения жутко. Она прикрыла глаза, всё одно не видать ни зги, черные тучи накрыли луну. Глаза-то прикрыла, но не спала. Лишь оно, время её одиночества, празднество её, в наличии-то у неё и оставалось. Он, невесть куда ушедший, она же и вовсе не у дел. Готовая к любому занятию. Согласилась бы со всякой работой, чего уж там, даже на массовки. Что жизнь, что театр - для неё у них нет ни единой роли. Доведённая до такой степени безразличия к себе, что и

¹⁰ Scribe (фр.) - писарь

не пытается осмыслить сути драмы или водевиля, имевших к ней самое непосредственное отношение, она различала отдельные лишь реплики оттуда. Пьеса разыгрывалась другими, теми, кому отведены главные роли. Именно так, к примеру, происходит всё на радио, актёрам там глубоко наплевать на озвучиваемые роли или же на строки зачитываемого ими романа, они произносят лишь слова, не ведая прочего. Жизнь, действие разворачивались вне её и без неё, слова: «Мадам, вас к телефону...», доступны кому угодно. Хотя, не представить в подобном положении её мужа, одно его присутствие где бы то ни было в корне меняло ход происходящего. «Вечно ты во что-нибудь да вляпаешься...» - ронял он по её адресу едва ли не на каждом шагу. Был же покойник, к исходу ночи, когда подсчитывали они деньги с Празднества. Труп безымянный. Лясурс тоже теперь покойник. Ей почудился вместо него кто-то другой. Ну да, тот, что в Булонском лесу... снова Булонский лес. Она не спала, но, прикрыв глаза, восстанавливала прошлое. Её удел - одиночество, и она пытаясь скоротать время, всё бродит вокруг да около, в ожидании востребования, отвратительна себе самой, с закрытыми, без сна, глазами.

Я сижу на том самом псевдоостровке¹¹, что зажат между бульваром Сен-Жермен и рю де Лиль, привязанном к большой земле террасой некоего бистро. Миниатюрные столики свои тот бистро разбросал до самой оконечности псевдоостровка, под высокие кроны деревьев. Бульвар клокочет, улица же пуста. Я пью какую-то настойку, пресно пошлую... будто слегка подогретая вода. Появляются они, бредут гуськом: один, два, три, четыре... за ним молодая особа. Узнаю первого - писатель, немолод уже, куль с картофелем. Знаю и особу - фарфоровая статуэтка, вежлива, у неё в наличии есть какие-то заслуги, но я не знаю в чём, чем она занимается мне не ведомо, верно, что грудью своей кормит её не живопись, однако, выглядит пресыщенной. Обитает в крохотной, надо же! комнатке. А по ней и не скажешь, сияет от счастья! Тоже и мужчины, все безмятежны, и явно не спать готовятся, хотя уже и изрядно подзаправились. Писатель раскланивается: то ли меня видеть рад, то ли на полу мелкую заметил монету, может быть амулет какой-то. Все рассаживаются вокруг моего столика. Косм – это имя известного писателя – так вот Косм, мой якобы друг, представляет мне двух своих блистательных приятелей: один из них банкир, поясняет он, а второй, второй драматург... и оба не

¹¹ Бок о бок с Национальной ассамблеей Франции (ранее - Бурбонский дворец, построенный в 1728 году для герцогини Л-Ф Бурбонской, родителями которой были король Людовик XIV и его фаворитка маркиза де Монтеспан). Рядом 153-метровый мост Согласия, выходящий на одноимённую площадь.

французы, но на французском говорят. До сих пор не встречалась ни с одним банкиром. Я никогда даже не представляла себе, как должен выглядеть банкир внешне, но уж точно не так, как то, что я увидела. Был он крупным и рыхлым, как какой-нибудь диван, одет во что-то удобное, но тёмное, стрижка «под шар», но чёлка на лбу, и огромные очки в траурной оправе. В драматурге не было ничего драматического, косой пробор, очки без всякой оправы, так ...два поблёскивающих рефлектора. Лицо круглое, бледное, губы с некой изюминкой, свежие, нежные.

- Потому, как мы с вами незнакомы, мадам, - говорит он мне, - я хотел бы заглянуть в вашу сумочку... это позволит мне поскорее вас разгадать.

Я настолько унижена счастьем окончания одиночества, что всё меня забавляет, и я протягиваю ему свою сумочку. Ну да, есть люди, читающие по линиям руки, но по сумочкам!.. Что бы он такого мог увидеть в моей? Он достаёт из неё девственно чистый носовой платок, мелочь, в беспорядке сложенные мятые купюры, все мелкого достоинства, паспорт, сохранивший былую свою благопристойность, позолоченную, тщательно запертую, и потому не сорившую пудреницу, губную помаду, бонбоньерку, спасавшую меня от кашля в театре, какие-то не выброшенные во время, а сунутые мною туда билеты, квитанция из химчистки, письмо мужа... давнее, очень давнее...

Притом не произносит ни слова, а возвращает всё назад, словно вежливый таможенник. «Всё в порядке?» - спрашиваю его. «Да, просто великолепно» - отвечает тот. Окружающих всё это явно забавляет, нескромные проделки им явно по душе. «Идут ли у вас на родине какие-то пьесы, из ваших?» - задаю вопрос, чтобы выказать свою неприязнь. «Полноте! - отвечает за драматурга Косм, выставляя при том напоказ свои мерзкие зубы, – это не более чем досадный пробел вашей осведомлённости о культуре. Пьеса его и в Париже перешагнула через полусотенный показ». «Ну, да...» - роняю я, а поскольку имя драматурга не озвучено, то более ничего и не добавляю. Тот всё понял: «Моё имя...» - начал, было, он, но я лишь повторила это своё: «Ну, да» - имя это, как и название пьесы, висело на всех тумбах; смотрела я её, пьеса странная.

Явился гарсон с заказанными напитками, тут же раздалось всякое от «нет, спасибо», до «да, нет же» и «мне и так уж достаточно». Косм всё ещё не отказался от попыток завладеть мною, я ему очень нравилась, романтической был он натурой, обижался на моё отторжение любой возможности

романа между нами, оставался влюблённым, в общем... Сегодня, слава богу, он приударял за Ритой, и это наделяло меня правом на лицемерие в любых пределах.

Любых ли... в любых пределах допустимо разгуливать и можно незнамо где и на чём остановиться.

Мне без особого труда удалось догнать их, пребывавших в эйфории, и даже впасть вместе с ними в состояние блаженной безмятежности. У Косма с Ритой всё это оборачивалось чем-то серьёзным, драматург всё своё внимание переключил на меня, в то время как банкир весь ушёл в шампанское, приставая то к обслуге, то к музыкантам с расспросами о кабачках, работавших всю ночь, куда нас и унесли затем послушные пока ещё нам наши ноги. Он выглядел довольным своей компанией, над всеми подтрунивал, не вгоняя притом никого в смущение, то и дело из карманов своего тёмного костюма, застёгнутого, как у протестантского пастора на все пуговицы доверху, доставал белоснежные носовые платки. Те платки его походили на крылья белых голубей, а он ими утирал со лба и с чёлки пот. И когда занималась уже заря, в одном из заведений, совсем опустевшем, где и оркестр-то играл лишь для нас одних, он, этот банкир, принялся неожиданно-негаданно чихать, негромко, по-кошачьи. Первый приступ нас развеселил, оркестр отметил барабанным боем. Когда тот принялся чихать снова, это вызвало у нас уже смешок, поначалу недоуменный, который при очередном возобновлении чиха и вторящих им музыкальных па перешёл в хохот, да такой, что хохотало вся и всё. Хохотал оркестр, хохотала ресторанная прислуга, даже скатерти, даже бутылки и лёд в ведёрке, и те хохотали в голос. А он всё чихал! Нас от хохота уже гнуло к земле, а я спала, смеялась и спала...

А потом вдруг очутилась у Риты и увидела там Косма, он сидел, накинув на плечи пальто, а она стояла, прислонившись в стене... в этом её нищенском жилище. И я поняла, что помешала им... и тут же ретировалась, опрометью... оказавшись в каком-то бесконечно-изломанном коридоре...

Какое же облегчение в том, что все они вышли! В том, кто, присаживаясь на стул рядом, с нею задел её кресло, она признала Дени.

Голова её пошла кругом, утратилось чувство собственного веса, она снова словно парила в невесомости, на подушках воздуха под ягодицами. Да, она меж небом и землёй, и удивляло её лишь то, что вместе с нею плыл там какой-то человек, оставляя за собой шлейф кроваво красного цвета звёзд. Он был при очках, и она не

могла взять в толк одного: для чего они ему здесь, где ничего, кроме воздуха для обозрения не существовало, были нужны. Да и весь он был какой-то несуразный - покойник на облаке, только без нимба над головой. Непревзойдённая мастерица летать по воздуху, она легко его обогнала и тут же потеряла из виду. И непомерно была счастлива, обнаружив выход из путанного того коридора, и, открыв глаза, увидела небо с черными грозными тучами на нём, и ощутила присутствие кого-то живого, и тем живым был Дени.

- Я сплю, совершенно проснувшись. Стоило явиться вам, и я тут же почувствовала себя в покойнице, вокруг ни одной живой души. После вердикта, высказанного вами в парке, так будет теперь всегда. Не знаю, этого ли хотелось вам услышать, но новенький весьма неплох...

- Извините... Обожаемая! Нижайше прошу простить меня и позабыть обо всём.

- Есть у меня для вас в Булонском лесу ещё один усопший. Давно, ещё до войны... убили некого банкира. Представьте себе, во сне сегодня явился мне. Летал на облаке. В очках и без нимба. И я летала, быстрее его. Забавно, но мы вечеринку вместе провели, в компании друзей. А рано утром, он принялся чихать, и каждому его чиху вторил взрывом своих инструментов оркестр. Мы все от души посмеялись... Так вот, этот человек, чихавший словно котенок, и был спустя несколько дней в Булонском саду убит. Покойник-то он из тех, что надо?

- Мне о том ничего неизвестно! Поговаривали о политической подоплёке, вот это я хорошо помню. Рано утром он выгуливал свою собаку... Вы пугаете меня, прелестная! Безымённый труп в ту ночь, при пересчёте денег; труп Лясурса, в том же самом лесу; наконец, труп банкира... сами-то мы ещё живы? Э-эй, покойнички!

- К вашим услугам.

Ночь чернела так, хоть глаз коли, но услышанный голос не спутали бы ни с каким иным, голос тот принадлежал *«поэту»*. Его называл так всякий, даже не знавший его, едва не во всех быстро, любой лавочник, любая нищенка. Глаза его... огромней самой ночи, в ангельском овале... в общем, как бы это вам сказать, *поэтом* он был, *поэтом*. Теперь стихи его обязывают мямлить школяров, мальчишек и девчонок повзрослее они раздражают. А было время почитали, и предпочитали его и его поэзию, умевших говорить. Он явился лишь по окончании вечера при свечах, прямо в ночь, под пенье соловьиного хора. Нет, не станет она отрывать глаз своих, то было бы безумием даже в этой беспросветной тьме, и выбираться из медвежьего своего угла тоже не станет. Голос его нарастал

наплывами, различала она его как бы издали, летел тот над парком порывами ветра, заставляя бесноваться кроны деревьев, будто под винтами самолета, неистово, раскатисто. И вдруг наступило какое-то нарочитое, сотворённое умиротворение, в самом соловьином пении зазвучал чей-то голос, даже не голос, нет, то зазвучали сами слова, и не было у тех слов начала, и конца не было у тех слов...

*Пусть ненавидящий меня ко мне придёт,
как и Его, из милости, пусть он меня убьёт.
Готов и я отдать, по каплям, кровь свою.
И благодарно перед ним за то я голову склоню...*

*Досужая молва твердит, мол, в смертный час
Душа - страдальца не в одночасье покидает нас,
Но вместе с памятью, недрогнувшей рукою,
Всю жизнь минувшую развешивает пред тобою...*

*Отведи, о, Господи! от меня чашу сию...
Отведи от меня... отведи... падающую стену
памяти моей... навзничь падающую
на меня... отведи,
Господи! отведи от меня чашу сию...*

*В чём провинился я пред небесами,
Что осуждён к побитию камнями,
Изъятыми из рухнувшего времени стены?
О, Господи! ведь мы же все - любимые тобой сыны...*

Откуда-то сверху, наземь, обрушивается грохот танковой колонны и давит его, голос тот, наехав на него, ... и отдаляется...

*Хотел бы умирать я на закате дня,
В тот миг, когда стекает в ночь
Последний луч, угаснув... Так и я –
И вдруг, и навсегда, любовь моя...
Да, вдруг и навсегда... и вместе с ним...
Хотел бы умереть я...*

*Да... той самую вечернюю порою,
Когда нет места ни ветрам, ни зною,
Но лишь акациям, бушующим в цвету,
А запах тех цветов меняется на запах ночи...*

*Вечернею порой... той самой глубины,
что немоте восторженной земли
застывшей перед красотой исчезающих небес
подобна... я же, смежив веки, отплыву в челне
Твоих объятий в те края, которым нет имён,
Там никому и ни к чему ни пробуждение, ни сон...*

*Последнее пристанище там всем...
Всему развязку все находят в нём...*

И голос стих, будто заслонённый прикрываемой дверью, и повисла в воздухе вибрирующая предчувствием и ожиданием чего-то тишина.

Хозяин дома, забавный уже и сам по себе, с забавными же, под стать ему самому затеями, и с не менее занятой при своих миллиардах непредсказуемостью их проявления, воспользовался тут же той пустотой, схожей с наполняющей меж двух танцев танцзал, или же с той, что выхватывает в ночном небе мечущийся по нему прожектор, и сблизился с ней не вполне твёрдой поступью. Он взял её руку в свои и, скорее не из галантности, но оттого, что не в силах был удержаться стоя, преклонил перед ней колени:

- Ты всегда была нам заступницей, а этой ночью прячешься в ней сама, и мы не нужны тебе.

Она ласково погладила его по волосам. Нет, не станет она ему выговаривать что-то резонёрствующее, мол, не следовало бы больше ему пить, что и так уж он хорош... Там снаружи, после очередного порыва ветра установилась мертвенная, чёрная и тяжкая, гнетущая тишина.

- Уу-у-ух! - отозвался хозяин на жуткий грохот, и казалось, будто это рушатся стены его дома. Он крикнул вдогонку ещё: «Мне страшно!» – хотя раскаты грома уже откатиться куда-то вдаль.

- Не закрывайте дверей! Ну какой дурень закрывает двери? Нечем же дышать!

- Их сейчас посрывает... - робко возразил «дурень».

- Оставь их открытыми!

- Хорошо, хозяин... Просто там ветер, говорю же тебе!

Высокая створка застеклённых дверей хлопнула и пошла вся мелкой сеткой трещин, побелев подобно лобовому стеклу авто, поймавшему камень.

- Ну, вот...

Крупные, невероятно крупные капли дождя сыпанули по мощеным дорожкам и принялись молотить по ним, укрывая белой крупкой, словно вывалившейся из стекла дверей - то был град!

И она почувствовала облегчение: всё объяснялось - виной всему была гроза. С улицы буквально влетели, отряхиваясь на ходу, вымокшие Рожер и Поль. И все уставились на падавший град, не удерживаясь от возгласов: нет, ты только глянь! в жизни ничего подобного не видал! с голубиное яйцо, никак не меньше! постой, с тебя же ручьём течёт, снимай-ка свою куртку...

Гроза поумерила свой пыл, таял упавший на землю град, и капли дождя постукивали в лужах уже словно метроном. Комнату наполнил уютный покой. А она всё думала о своём «поэте». Когда-то ей казалось, что любовь не может обернуться безразличием, что та продолжается, не умирая в ней до самой смерти, став чем-то более сильным, нежели сама любовь - хотя бы из почтения перед памятью о ней. Сама она давним своим увлечениям оставалась верна до сих пор, и даже тем, что оказались на поверку горестными. Но ничего из того и малейшего смысла не имело для них; они, едва получив от любви ожидаемое, тут же впадали в скуку, а то и вовсе начинали тут же её избегать. Верности предана была лишь она, в то время как в мужском непостоянстве верность эта принималась с презрительным снисхождением и каралась без сожаления. И вот же встречаются-таки женщины, умеющие, не смотря ни на что, хранить эту самую верность своему бывшему возлюбленному, полюбившему уже какую-то другую, женившемуся на той другой, то ли исчезнув с глаз долой, то ли оставаясь, что называется, всегда под рукой. Но из этих-то плешивых, из грубых и неотёсанных этих-то, кому из них доступна подобная преданность прошлому?

Ну, а вот это: «Всем ты нам заступница...»? Верно и она к ним столь же гнусно несправедлива. Ведь и она же... она всеми ими тоже пренебрегла.

Слышен чей-то крик... На сцене Валентина Тессье¹², она у зеркала и долго всматривается в своё отражение. Крик рвётся, рассечённый двумя мрачными паузами, из её груди...

Все мои поклонники были не моложе меня, а поэт - мой сверстник. Да, во времени ветшала я сама по себе...

Снова крик!.. жуткий! снова я на нём, как на игле, острие его торчит из моего указательного пальца. Тот крик никому не

¹² *Valentine Tessier* - популярная французская киноактриса XX-го века (5 августа 1892г. – 11 августа 1981.г). Прожила долгую сценическую жизнь, сыграв 31 роль, наиболее известная среди них в фильме «Собор Парижской богоматери»

принадлежит, неземной, он пронзает меня, нанизав все жизненно важные мои органы - как уж тут с него соскочишь...

Если где и не обойтись без истинного мужества, так это в борьбе с победившим тебя. Ох уж эти победители...

Сквозь дрему слышна какая-то музыка, я, видимо, забыла выключить радио... Скольжу на коньках по льду, в крепких руках опытного партнёра, всё так дивно, так радостно...

Мы задерживаемся у плана города. ОТЕЛЬ обозначен на нём гербом, похожим на указатель сторон света, в виде креста. В том отеле мы когда-то останавливались, стоял он на берегу реки... Мы собираемся побродить по старому городу, на плане тот был помечен по другую сторону, и нужно идти через мост. ОТЕЛЬ тот огромен и величествен... в комнате висит план города, он цветной и очень красив. Машина... идёт дождь. Тот, что на коньках и уверенно меня ведёт, мой муж, мы не спеша кружим по мосту в сторону другого берега, а там ночная тьма, и в ней - отсвечивающий влагой, цвета антрацита, проспект. И лишь ночь, и деревья. Никакого движения, ни единого прохожего. Площадь... выставляет напоказ отборный товар дрожащих под холодным дождём улиц. Я молчу, зная, что муж не любит, когда кто-либо подвергает сомнению его нюх к ориентированию. И он смело устремляется в одну из улиц, раздирая ту ночь в клочья, уподобившись цирковому псу, летящему сквозь заклеенный бумагой обруч. Мы катимся вникуда. Меня переполняет пустота, всё пустынно и вне меня. Мы молчим. Но стоило нам выкатиться к реке, к мутной огромности её вод, и увидеть в отдалении мост, который мы пересекли совсем недавно, в самом начале нашей прогулки, возле отеля, как муж мой и, он же фигурист, запинаясь и негодуя, забормотал: «Как же так! Ничего не понимаю! Он же остался у нас за спиной!» Но путь продолжил, только в обратном уже направлении.

И будто во сне вижу я черноту ночи цвета антрацита, с лужицами света от уличных фонарей и крошечную пустоту, и я понимаю, что мы потерялись. Мы немеем, мы теряем дар речи, наблюдая, как заполняются те лужицы кровью, и вокруг какие-то завалы, через них ни пройти и не проехать, а узкий проход среди нагромождений всяческих обломков загорожен чье-то машиной... и кровавый отблеск луж, единственно он, и то, лишь на уровне земли, подсвечивает доступный путь. То тут, то там в хаосе хлама обнаруживаются провалы, их можно миновать, но можно в них и нырнуть, как в призрачное счастье, и оборачиваются тогда они лабиринтами – мудрёными и предательски коварными. И нет

здесь от начала веков никаких иных путей, никто и ничто здесь не тронется с места во всю предстоящую вечность. Те же пути, те же лабиринты чувствую я и в своём теле, в этом «доме» для моих костей. И в нём всему «по pasaran». Повернувшись по кругу, голова моя разворачивает за собою и меня. Всюду бездонность тьмы. Из неё полыхает яркая вспышка ослепительного света, и тут же глаза застилает полная слепота, будто на них наложили чёрные, как и ночь, контактные линзы. И визг тормозов... Так они визжат у больших грузовиков, при резком торможении... от того обычно вылетают через лобовое стекло. За рулём, слава Богу, не муж, он в кузове, под брезентом. То ночь разворачивает перед нами представление: прожектора, брань, двое в накидках. Медленно пробирающийся грузовик... Всё плавно погружается во тьму-покачиваясь ночной дорогой в грузовике, противиться сну едва ли кому под силу... Ночь втискивается между той поездкой в грузовике и лабиринтом, где бродим мы от поворота к повороту, не находя выхода. «Это что?» - голос звонкий, крикливый, резкий... Приказ остановиться. Из грузовика прыгают, кто-то бежит к нему, и я вижу, что прямо на проезжей части, в отсвечивающих красным лужах лежат тела, тела людей... Лежат на животах, с пулевыми отметинами в затылках. Мы снова трогаемся. И ночь поглощает нас, снова прожектора, шлагбаум, люди в униформе... пытаемся объяснить им, что там, откуда мы приехали, прямо на дороге трупы. Они улыбаются, приветливо и простодушно, и в ответ слышится: «Фашисты-с». Снова едем. И снова то сон, то бессонница, пока не оказываемся вдруг в городе и понимаем, что это Барселона.

Здесь нужно отыскать один отель, он должен большим быть и прекрасным. Город, что твоя чёрная печь. Муж тотчас смешивается с ним - он здесь знает всё, здесь его знают все. Попробуй его тут найди, это какой-то кошмар. Всё колобродит, всё кишит внутри этой печи, не смыкающий глаз город всю ночь рокошет, пыхтит, пришепётывает. Колышется, бурлит, урчит вокруг безликая толпа. Вокруг, и перед, и за нами, сплошь трупы. Они ничего не слышат, когда спрашиваешь у них дорогу, их это лишь забавляет. Так мы не закончим кружить по городу никогда. А вот уже и Мадрид. Дворец всё ещё хранит в себе жар бегством спасшихся из него тел. Парадные залы, салоны, будуары, марши и лестничные же площадки, укромные закоулки, коридоры, ковры, кресла, картины, кабинеты, платяные шкафы, ровными рядами расставленная обувь, туфельки, сапоги, высокие ботинки, висят наряды, церемониальные платья, военные мундиры. И тут вдруг

назойливо непрерывный звонок. Может и следует вставать уже, время пришло, восемь часов. На секретере розового дерева лежит письмо: «Дорогая, в эти тяжкие для жизни дни, я тебе...» Я откидываюсь навзничь в громаду постели... Спать! Спать! Но раздаётся громкое: «Тревога! Подъём! Тревога!» И стук в дверь! «Тревога! Спускайтесь вниз!» О, нет... пусть даже всё разнесёт вокруг пушечным снарядам – спать. Дворец обезлюдел, лишь он и я... я на огромной кровати и никого боле. И ещё вой воздушной сирены. «No pasaran». Но где же этот неумолкающий телефон? Я бегу через залы и будуары, по коридорам и лестницам, всё бегу и бегу, мне нужно найти тот телефон, заставить смолкнуть его. Стены выбелены мелом, они тесно обступают меня, мел на них рыхл, как тот, которым я когда-то писала на доске в школе. Нескончаемые тысячи километров коридоров, самых разных, все белёсые, нежный подобно снегу мел, отметины от ударов ножа, и воздух, даже он, и тот пахнет талым снегом, как и стены, они и сообщают ему тот запах. Пятно выхода в такой же дали, как и луна, нет, как Венера, он недостижим. Вокруг и всюду одни лишь коридоры. Кто озаботился здешней безопасностью? В который из них сворачивать на их пересечениях? No pasaran. Выскакиваю прямо в ночь, сначала лечу по воздуху, затем падаю на воду. Кричу криком, требую переправить меня. Но куда, зачем, откуда я...

Всё возвращается на круги свои, и отель, и огни, бутики и кафешки, празднующие толпы. Выхожу из машины возле отеля, спрашиваю портье, где теперь старый город. «Вы в нём, - отвечает человек, - если желаете взглянуть на главную улицу с фонтанами, офисами, вам достаточно лишь пересечь площадь»

Мы туда не идём, а поднимаемся в номер истребовать карту города, предоставляемую в первоклассных отелях. Карта как карта, со всяческими названиями и указателем сторон света, отель на плане города помечен. Если разглядывать его на ней вплотную, отель оказывается не там, где ему надлежит быть, отгороженному от всего прочего, а на противоположном берегу, в виде едва различимой точки. И мы хохочем, держась за руки, я и мой муж.

А дождь всё бормочет и бормочет.

Акации и мяты дух царит вокруг ...

Смолк бы уж он, что ли, тот дождь! Ночь божественна, её рука в его руке, вот бы так всегда и навсегда... Они не умерли ещё,

ни она, ни он... И в миг осознаётся, как часто являлось ей желание, чтобы именно так всё и случилось...

Как это долго - умирать всю жизнь ...

...как же легко давалось «поэту» перелагать в слово всё то, что чувствовала она, что в ней случалось... видно, слышал он, чему ещё только должно стать! Но как же долго длится оттого вся жизнь! О, ужас! как в канун экзамена, генеральной репетиции, премьерного показа... И быть при том по другую сторону! Ей не по силам больше ждать, но и невмочь ужать время ожидания...

*На лепестках цветов пытаюсь разглядеть
предначертание судьбы своей...*

Но там ответ всё тот же – увяданье.

Не властен я противиться тому...

Ей бы своевременно заставить подчиниться собственную свою судьбу, принудить цветы ко лжи, они способны к тому, делают это столь изящно, что и противиться им трудно, это она бы смогла. Но, время-то как ужмётся... Любое снотворное способно обмануть, пользоваться револьвером она не умела, воды и высоты боялась, газ был опасен всем прочим. Помимо того, её вдруг осенила мысль, что смерть разлучит её и с самой собой, и что, не смотря ни на что, она к себе самой привязана. И если свыклась она с тем, что нет больше руки мужа в её руке, что тоже, и совсем недавно, было чем-то неправдоподобным, то расставание с самой собой показалось ей вовсе невообразимым.

Ночное это рандеву полно было сновидениями... Что ж, поскольку человеку сон жизненно необходим, не станет уклоняться от него и она. Только кому чего, а ей не достаёт красных кровяных тельц. Не лишне отметить и то, что этой ночью, будто сговорившись, никто из приглашённых на вечеринку словом не обмолвился об имевших место болячках – все их словно оставили при входе, за дверью. И пускай даже кое-кто во время застолья отказывался то ли от соли, то ли от вина, сославшись на то, что только в эту ночь, так сказать... приходится, как-то вот, кое в чём и воздержаться... но всё это звучало обтекаемо, словно вальс. Пили и ели, в общем, все и всё. Инфаркт расторопно показывал жёлтые свои глаза допотопного зверя лишь тому, кто заговаривал об отсутствовавших, и тут же того и приканчивал острым своим когтём. Присутствующие выказывали себя живыми, даже здравствующими. И таковыми они и выглядели,

едва не бесноватые в маниакальной своей подвижности, и призраки, их навещавшие, являлись им не из преисподней, но принадлежали миру сему. Сама она, стоило тревоге удирать её насквозь, тут же оплывала, размягчалась, подкашивались ноги, перехватывало у неё дыхание, глохли уши, затем следовал обвал наземь. К чему знание, как тот ужас хватается за сердце кого-то другого, что он творит с кем-то другим? И ею он овладевал, без видимой, случалось, на то причины, иной раз тому что-то, да и способствовало, порой и таинственное, та же клевета, к примеру. Неявностью своей она очерняла, осмеивала, обволакивала грязью на глазах у любящей её публики. Попробуйте вообразить себя на подмостках, лицом к лицу с сотнями, нет, с тысячами голов, напичканных гнусными о вас небылицами... будьте вы хоть трижды гениальны, вы уже получаете «по заслугам», загодя.

Симпатии публики и легкомыслие её, её предрассудки и её тупость... какой-нибудь Девос¹³, или же Фернандель¹⁴ не успевают ещё и рта открыть, а она уже заходится в хохоте. То «западает» на обожаемых Брижит Бардо, Барро¹⁵, то тут же их освистывает, и... тут же снова любит. Холод неприятия для неё не есть противоречие с самой собой, он просто никогда не ослабевает... Было время, когда одно лишь имя её на афише обеспечивало аншлаг, переполненные залы. Она в сердцах вырвала руку, безмятежно покоившуюся в руке мужа...

- Что такое, душа моя? Снова страшилки?

Как он её всю знал и чувствовал! насквозь! не взирая ни на время, ни на расстояния. Сердце было у них одно и чувствительное невероятно.

- Цветик ты мой милый, стоит ли то воспоминаний?

О-о-о, это того стоило; она же так любила обожание.

- А как же я? Разве я тебя не любил?

- Нет, ведь ты же о том говоришь как о прошлом.

Он поднялся, вышел на террасу и исчез в толще дождя. И тут-то вот она и почувствовала, что в этих распрях со смертью речь шла не о ней. Но лишь о нём, лишь о нём одном, жившем неведомо где, неважно как, безразлично с кем; состарившимся, потрепанным, отдалившимся, только бы он существовал, лишь бы только был. И

¹³ **Раймон Девос** (1922-2003 гг.), популярный французский комедийный актёр («Безумный Пьеро», 1965)

¹⁴ **Фернандель** (фр. **Fernandel**, настоящее имя Фернан Жозеф Дезире Контанден, фр. **Fernand** Joseph Désiré Contandin; 8 мая 1903, Марсель — 26 февраля 1971, Париж) — французский актёр (сыграл более 150 ролей, среди них «Дьявол и десять заповедей»), один из величайших комиков театра и кино Франции и Италии, кавалер Ордена Почетного легиона. В 1963 году Фернандель на паях с Жаном Габеном создал собственную кинофирму «ГАФЕР» (GAFER — Gabin & Fernandel).

¹⁵ **Мари-Кристин Барро** (фр. **Marie-Christine Barrault**), как у нас говорят, заслуженная актриса театра и кино Франции, офицер Ордена Почетного легиона (2012 г.), Оскар за лучшую женскую роль 1975 года в фильме «Кузен, кузина».

тут же панический страх... что с ним, там, в беспросветной тьме, он же может оступиться, упасть, ушибиться... Нет, только никаких ран, ни за что!

- Есть здесь кто-нибудь, кто мог бы принести мне стакан какого-либо напитка... той же воды – позвала она громко, властно.

Некто поднёс ей какого-то, весьма крепкого, спиртного и, в придачу, стакан с водой. Алкоголь тот сглотнула она одним махом и, чтобы притушить разбушевавшееся во рту пламя, запила его. Едва ли не тотчас её охватило возбуждение, она бросила взгляд вправо, затем налево, беспокойно засучили, совсем её не слушаясь, ноги - не удалось алкоголю ничего уладить.

- Так-то оно лучше, ангел мой. Немного малиновки? Вот и чудненько!

Ну, конечно же, тенор; массивный, экстравагантный, всё в нём и оттеняло, и дополняло тембр голоса, даже колёе бороды и нечто подобное же, из волос, на голове. И тут же сбоку неизменный Фома, блистающий оскалом острых, как у тигра, нет - у крокодила, а может и как у змеи зубов, если только есть у той эти самые зубы.

- Кажется, слишком крепким было это для меня...

- А нам с Фомой стоило бы и повторить... не так ли, Фома, за товарищество наше? Видишь ли, ангел мой, этой ночью решили мы с Фомой учредить товарищество... в предместье Сент-Оноре покупаем лавчонку... правда у меня есть и сомнения на сей счёт. В общем, идейки мои, монетки его.

- Вы уверены, что этой ночью оптический обман не занесёт вас куда-нибудь не туда? А малиновка эта... уж не позабыли ли вы, что ночью все кошки серы?

Но они не сообразовали ей ответить, те же серые кошки. Спиртное, товарищество, дурно подобранный тот союз - ничего из того не нарушало ход её мыслей. Жутковатая смесь ощущений: окончательного и полного разгрома, светлой печали, поджидавших расставаний, среди которых самое что ни на есть мерзкое – потеря, нет, утрата самой себя.

Зачем согласилась я на ужин у главрежа, у Рожера? Время от времени я забываю, как всё случается, но если я в состоянии забыть, значит есть у меня на то весомое основание. Усадили меня на почётное место, между двумя театральными деятелями. Мне потребовалось какое-то время, чтобы придти в себя, я слегка растерялась – те двое мерзко хихикали, переговариваясь поверх моей головы. Я пыталась переломить ситуацию в свою пользу, и даже строила, бедняжка, им глазки. Я не понимала, чего от меня

хотят. Я была на грани отчаяния, не находя причины подобного ко мне отношения. Все догадки казались мне абсурдными. Соседи мои продолжали свои выходы. Мне бы подняться, да вклеить обоим по пощечине! я же в итоге отважилась лишь на молчание. За столом шумело веселье, кругом смеялись, было полно смазливых девиц... А я чувствовала исходившую от моих соседей досаду, соседство со мной их явно тяготило. Объяснил бы мне кто-нибудь ещё, какого нужно было им от меня рожна. Я понимала, что это всего лишь сон, что он лишь усугубляет наяву испытываемую мною тревогу. Я вижу солонку, баночку с горчицей, большое яблоко и понимаю, что эта вечеринка не закончится без какой-либо мерзости. Все смеются, смеюсь и я. Это же ужин у генерала Рожера, это удача, едва ли не успех. Он, правда, не дал мне в этом своём спектакле, здесь же и поставленном роли, предоставь он её мне, и провал неизбежен, публика же на меня дуется. Публика, она такова, у неё то мода на любовь, то, едва не тут же, мода на нелюбовь. Теперь я у неё не в моде. С ней, чтобы преуспевать, нужно считаться. Теперь я не в её вкусе, не знаю только, кто испортил ей аппетит. Рожер, старинный мой друг, он поддерживает меня, ценит меня, но он не рискует навязывать почтение ко мне. Он лишь оказывает мне, и то через стол, неброские знаки внимания... Предатель, и он туда же! На нём смокинг, сорочка, одна из тех, что в моде, о них только и разговору, везде и всюду, на стоячий воротник которой слегка напалзает кожа его шеи. Он тысяча восемьсот девяносто шестого года, думаю я с негодованием¹⁶. Великий режиссёр, мэтр, всегда востребован, всегда. А почтение мне оказать притом не осмеливается. Знает - мне по силам, что недоступно нынешней его звезде. И потому-то именно и не идёт против пристрастий публики, не тот уж он, Рожер молодости нашей, Рожер без страха и упрёка. Не предложить ли ему себя под вымышленным именем, с выходом на сцену в маске?

Я сплю... и осознаю, что сплю. Огромное то разочарование тоже мне только снится. Но никому до того нет никакого дела, я всем лишь мешаю. И на меня нисходит облегчение, от того, что отыскиваю подходящее себе именование: я помеха... Нет, кофе не буду, благодарствую, и в вас, господа, не нуждаюсь. И поднимаюсь из-за стола. Все вокруг франтоваты, радостны, приветливы, фланируют промеж столов. Наталкиваюсь на молодого человека, комика, кажется, утоляю его жажду к комплименту, тут же ловлю себя на догадке, что приняла его другого, в растерянности и он, до него ничегошеньки не доходит, он вежливо в ответ улыбается,

¹⁶ Эльза Триоле родилась в 1886 году.

и интересуется, что им, занудам этим, от меня нужно. Но вот и Поль. Он с девяносто третьего и не в состоянии рассказать обо мне чего-либо стоящего. Он просто целует меня и: «ты так хороша, милая моя, тебе это так идёт!», обнимает за талию и улыбается мне, улыбается нарочито любезно. Но роли в фильме, которым он теперь занят, для меня нет. Он уходит вместе с Рожером, я слышу удаляющиеся их голоса... там всё о субсидиях, дотациях, налогах... скандалах. Со спины оба непревзойдённо элегантны. А я всё сплю, сплю... у меня непорядок с подвязками, сползли чулки... я позабыла застегнуть молнию, на спине бального моего платья. О, как прекрасны все эти девушки! я сползаю, прячась, под стол, мне так за себя стыдно, но скатерть свисает довольно низко, я оказываюсь в царстве ног, здесь полумрак и ничего, кроме черных брюк, модельных туфель, голой кожи пяток, объедков со стола... Пристраиваюсь там на корточках, узкое моё платье на ягодицах вот-вот лопнет. Ноги те все в движении, и я беспрестанно получаю пинки и тычки, мне здесь очень тесно, я вне себя от негодования на эти самодовольные ноги - да за кого они, в конце-то концов, меня принимают! Если так всё и дальше пойдёт, я залаю, я кусаться начну. И лаю, и кусаю чью-то ногу прямо сквозь брючину, и ткань скрипит под моими зубами... И раздаётся крик!..

Она вдавилась щекой в подлокотник кресла, тот шершав и царапается. Выдираться из сна невероятно тяжело, не может того быть, чтобы те крики, и первый тот, и этот последний, снились ей. Не следовало ей малиновкой угощаться. Вся жизнь её сгустилась у неё во рту, от неё перехватывало дыхание, жизнь та напоминала плоть несвежей устрицы, вызывавшей рвоту и спазмы в желудке. Нет... та боль всего лишь продолжение сна, она тоже, не более чем сон... вот сердце это да, это по-настоящему... оно не успокаивается.

Ей нужно встать, вдохнуть свежего воздуха... мужчины эти, они так много курят, и двери вот прикрыл кто-то, по-видимому, из-за грозы. Но куда всё ж таки все ушли? В парк, должно быть, теперь и дождя то уж нет, закончился. В курилке этой она одна, замызанная посуда кругом, доверху забитые пепельницы, окурки повсюду. Они же, солидные эти мужчины, прогуливаются, видите ли. Да бродят они, каждым шагом лишь обозная иллюзию жизни... но до них целых три ступени лестницы... Она встаёт, медленно, осторожно, не будучи уверенной в том, что случится в следующий момент, когда окажется она стоя, и без посторонней помощи. Но всё, слава Богу, обошлось.

А дальше те три ступени, и преодолевать их, несносные эти ступени, предстоит ей самой... но она справляется и с ними. Воздух

после грозы хмелит, удовольствие от него неопишимо. Никого и нигде не видать... Ну, парк-то большой, вот они в нём и затерялись. Что ж, это и хорошо. Где-то там, в глубине аллеи, возле плотной стены буковой поросли стояла скамья, на которой она сидела бок о бок с Дени, возле выплёвывавшего нащёптывавшую что-то струю воды, будто тем самым приглашавшего к себе дельфина. Вот она и пришла, уселась на скамью и снова окунулась в свои мысли. О той панике, что охватила её, когда подумалось об ожидавшей разлуке с самой собой. Она всецело отдалась всепоглощающей тоске, схожей с той, что охватывает тонущего в болотной трясине.

Ночь пела. Не ночь, а неумолчная певунья, недомолвками своими оклеивающая витражи окон. Бодрствующая неясность, баюкающая птенцов. Дальний и оттого гулкий брёх покинутой отлучившимися хозяевами собаки, облаявшей чужака, шуршание газового счётчика. Я могла бы заставить заурчать приёмник или зарычать сама, и никто бы и ничего не услышал, и не ответил бы ничего. Он... он спит, сон его глубок, как и ночь за окном, он едва дышит, размеренно и неосяземо. Это и есть тот самый, пустынный, островок забвенья, заселённый всяким пушистым зверьём. Чтобы ни зло, ни злодеи не заметили его, я не шевелюсь. Хорошо бы сюда ещё ласковую собаку, и чтобы любила она меня. Отмечаю про себя, что готова броситься к похожей на моего далматинца Пата, отмыть. Пат, его у меня уже нет, как нет больше и причин для беспокойства о нём. Мою пса, весь он в глине, а пятна на нём не как у Пата, не чёрные, они цвета красной глины, похожи на огромные веснушки. Я мою его и люблю так же неистово, как любила когда-то Пата, это собака, которую нельзя не любить. Что-то дырявит ночь, мне теперь не до пса, я его уже не мою, вся ушла в некий звук, разрастающийся, упивающийся самим собою, вновь и вновь собирающийся с духом, не думающий умолкнуть. А он... он продолжает спать. Я ему говорю, а потом уже и кричу: «Телефон!» Тот стоит на ночном столике с его боку. Просыпается он едва ли не рывком, и ему это не по душе. «Ответь, да ответь же!» Лишь тогда он отвечает: «Алло... зачем? Да?» Он уже бодр, ворчлив, односложен: «Сказать мне нечего ... нет... не знаю. Зачем мне говорить об этом?» Мне становится не по себе: «Кто это? Ну, скажи же мне, кто это?» На меня он не обращает малейшего внимания... Поднимаюсь, обхожу кровать, беру параллельный наушник... Голос женский, спокойный, неспешный: «Хотя бы потому, что ты сам дал мне номер твоего телефона... так что, говори... расскажи, сам.. ну же, говори... ты

же сам дал мне номер своего телефона, я тебе потому и звоню...» Он ей: «не о мне чем рассказывать... о чём должен я говорить?» Говорят они одно и то же, и будто по кругу... Она, наконец, его обрывает: «Ладно, дел ещё полным-полно, надо заканчивать...» Я вешаю наушник, снова забираюсь в постель. Дел, видите ли, ещё полным-полно... И мне следует всё это принимать за чистую монету? Я представляю себе его, как выходит он из какой-то забегаловки, с какой-то девицей. Тут он тоже кладёт, свою уже трубку. «Ну и?» – «Она сказала мне, мол, это Францина, но никакой Францины я не знаю». – «Отчего же ты не сказал, что это была ошибка, что ошиблись, мол, номером?» - «Никогда не знаешь, какой фигурой против тебя будет сыграно» - «Причём здесь какие-то фигуры? Ошибка, она и есть ошибка. Ничего не понимаю.» - «Ну, не понимаешь, так и... не понимаешь. Францина... Тебе что-нибудь говорит это имя?.. Францина... Не припоминаю... Францина... Нет... А ты?» - «Нет... я не помню... Почему ты не сказал, что это ошибка:» - «Но голос!..» - «Нет, я не припомню...» - «Ладно, давай спать». Я так ничего и не поняла, гашу свет.

Уснуть снова я не в силах. Не является ко мне больше и тот рыжий, дружелюбный пёс. Что за бред - звонить среди ночи! Она не только не могла уснуть, она не знала, что думать о незнакомке, заставлявшей его ей звонить. Если бы та приняла снотворное, то не стала бы звонить ему среди ночи, и я смогла бы домыслить славного своего рыжего пса. Нет, она звонила не ему, должно быть, ошиблась. В то время как я безутешно маюсь со своей бессонницей, он тут же в сон проваливается. Упомянутое им сходство голоса, конечно же, против него, но иногда он пускается в такие предосторожности, что я в них путаюсь. Мне кажется, что похожесть эти не более, чем ошибка. Со своей этой нарочитой осмотрительностью он когда-нибудь вляпается в настоящую историю, и уж та-то до добра его не доведёт, поскольку не сможет объяснить, отчего это он не делает вполне очевидных для всех вещей. Я, верно, попыталась бы объяснить, что это всего лишь недоразумение. И ясно мне, что всё я выдумываю, придумываю и про сон, который никак не идёт, и оттого, и даже весьма, расстраиваюсь, но мне больше ни о чем не думается. Скоро утренний кофе, а за ним и неотложные дела. Он уйдёт к этим своим делам, и вместе с тем отпадёт надобность напоминать ему о ночном инциденте. Да он о нём и не вспомнит. Я принимаюсь за те самые неотложные свои: знаю, что дом наш держится на тех самых, постоянно требующих участия моих рук мелочах... Нужен водопроводчик... подтекает кран... надо потолок

подкрасить там, где протекло от соседей сверху... ещё нужно купить котелок, в старом дырка... Но мне отчего-то боязно вылезать из постели, а в ней - даже шевелиться. Дом захламлён какими-то предметами, какими-то вещами, ими полны комоды, из-за них уже не закрываются дверцы шкафов: всякая одежда, точенные молью свитера, отрезки ткани, не гнущиеся, по возрасту, кожаные перчатки, шапки, колпаки - всего сверх меры, всё в навал... Письма опять же... что-то я, может, и сделаю... одно-другое, не более, но на письма отвечать, тут уж позвольте - ни за что и никогда. Я не отправила расчёт по страховке на случай пожара... Ну и пусть, гори оно всё огнём, подумаешь! И не пошлю, надоело мне всё...

Пустынный остров бессонницы безлюден нарочито, как случается на сцене, когда луч прожектора выхватывает лишь то, что показать надлежит, а остальное, и декорации, и сами актёры, остаются упрятанными во мрак. Ночь скрадывает от меня всё вокруг, я оказываюсь центром чего-то, чего не вижу. В глуши бессонницы, без единой мысли в голове я как в темнице, я не могу оттуда выбраться, время застыло. День деньской вокруг и мне бы нужно вставать, приниматься за какую-то работу, но бессонница не отпускает мысли мои из липкой мглы, и оттого краски дня оказываются замазанными сумраком ночи. Я осознаю, что с пробуждением дня мир срывается с цепей. И он, как и все... Он что же, выходит из какой-то забегаловки? Принимать это за чистую монету, значит обманывать саму себя. Но забегаловка-то ему зачем? А что, если я застаю его вдруг выходящим из той дыры с женщиной? Я погружаюсь в отчаяние, в изысканное до головокружения ощущение беды. Бывают беды как беды, никакого там головокружения, ну беда и беда... Беда же с помутнением разума несёт тебя на себе, закусив удила... Ах, молодость ты моя молодость, всё-то с тобой нипочём, хотя под ногами лишь опилки, плевки да окурки, но... умыкнуло время и травы густые, и цветы полевые, и деревья, которые без стольких, ускользнувших лет не стали бы большими, а теперь вот и гнилью уж поточены, и усохшие стали опасны, и потому подлежат порубке... и душат слёзы меня. Силюсь представить, как, выдравшись из сновидений, не обнаружу на себе ни единой морщинки. Как дивно грезить, что наяву, после сна, не будет на тебе ни морщинки, что всё это лишь привиделось тебе в дурном сне. Францина, морщины, чек по пожарной страховке. Представляете?

И всё же я драпанула, не знаю только откуда и от кого. Я просто выдохлась. Некая комната, явно гостиничная, клетка не более, но в ней я обретаю своё спасение. Ушли страхи, я знать не знаю, что мне надо чего-то бояться. Комната, снова она...

*Во всякой комнате, лишь стоит в ней уснуть,
Обрушивается на меня воспоминаний кара...*

В былое время жила я в гуще клубящихся во все стороны из некоего центра плотно слепленных друг с другом кругов, и центром тем сама же и была. Ныне же ничего из меня уж не исходит, я замерла, не двигаюсь, я дыхание даже своё сдерживаю, чтобы облачко пара, того гляди, не вырвалось. Я так вся ужалась, что стала теперь едва различимой точкой. Как и из плотно сложенных пяти пальцев, с большим поверх остальных, кулаку моему, места мне нужно совсем немного. И надо всё меньше, и меньше. Комната, мною обитаемая, для всех анонимна, от всего я за ненадобностью избавляюсь, любой, даже самый малый завиток с бытия срезаю, все дела свои сунула я в дорожный кофр. Обмылок, выскользнувший из рук и водворённый на раковину умывальника, и тот досаждаёт, понуждая занимать лишнее пространство. Тело моё не сминает кроватных простыней. Ничто не проникает сквозь панцирь вокруг моего мозга, потому-то в мозг тот и не попадает ничего, он занят лишь мною одной, закована отныне я в себя саму. Ничто моё не проникает наружу, ничего не получаю я из вне. Мужского не ощущаю пыла, разве что жар телесного в любви прикосновения. Во всём я чудовищно неприкаянна, покорна до... неосязаемости, до неприкасаемости - никто, пардон, не касается меня. И иначе я не могу. И объяснить себя себе иначе не получается у меня, и не в силах я себя изменить. Все думают, что я сглатываю оскорбления из малодушия, но я молчу из-за гордыни непомерной, всю меня под себя подмявшей, оупляющей и не позволяющей мне же к себе самой и пробиться. Ни к наци нет у меня личной неприязни, ни к белой кости и голубой крови, ни к погонам, ни к коммунистам (ни я их так поименовала, но Ленин), в общем, ни к кому из тех, кто считает себя выше воли Господа или же доводов разума. Я уступчива. Посредственности воспринимают меня непременно посредственностью. У всякой едва приметной посредственности я вызываю тревогу. Длительные отношения со мною выдерживали лишь особо замечательные личности. И перед теми, и перед другими я, извините, оставалась уступчивой недотрогой. Мне по душе та собака, которой я задаю трёпку, а она, прислонившись к

моим ногам, теплом своим меня согревает. И, не поверите, люблю я её такую до самозабвения.

К ней вернулась реальная суть вещей и осознание, что сидит она на каменной скамье, лицом к той самой аллее, отороченной по сторонам высоченной буковой порослью. Лунный свет превращал ту аллею в мерцающую дорожку по водной глади. Вновь напоминало всё это сон... и пса, милого пса. О чём она теперь действительно мечтала, так это о дорожке света по водной глади. Отчего же щёки её увлажнили слёзы? Вот уже столько лет не проливает она их по морщинам своим, зачем же оплакивать сившееся-то? Она касается пальцами щёк, достаёт платок, сушит им своё лицо. Пёс, поток слёз... Ну, да! это жалость по мужу... Та жалость, что обращает её в мягкое тесто или в несвежий хлеб, настолько чёрствый, что тот не поддаётся уж ничьим зубам. Жалость к нему, всем преисполненному человеку?.. О да, ей ведомо, как жалость та нанизывает на себя - сродни плетущему ирландское кружево вязальному крючку. Любить, значит и жалеть.

Прямо против неё, на широкой посеребрённой той дорожке объявляется вдруг, как из-под земли, тёмная масса, она медленно и неслышно приближается будто баржа, принимая при сближении очертания вышедшего на глиссер катера, ещё и мотором к тому же тархтевшего!.. Ну, конечно же, это тенор, огромный, нет, просто кошмарно большой, спешивший в её сторону:

- Ну, наконец-то... вот и ты!.. Душа моя, ты так нас напугала! тебя все ищут... Идём-ка, только осторожно! Нужно их успокоить.

И они направляются, мелкими шажками, к дому, одолевают и те три ступени. Если заседавшие внутри и волновались, то ничто их, говоривших одновременно, в том не выдавало. Правда, один голос выделялся, солировал:

- Да обернитесь же назад, в недавнее наше прошлое! В том году столько несчастий приключилось, в начале своём все, вроде как, и намёка на необычность не имели, да закончились только более чем странно, и канули в небытие. Но полно же ведь и неприметных инцидентов, вроде чирканья одной машины о другую с банальными царапинами, хотя кому-то и кажется, что мнутя они притом всмятку, как обёртка шоколада. Впрочем, кто вам сказал, что уворачивались те водители, а не продолжали жать прямоком в бездну, лишь бы в очередной раз не наступить на горло своей песне? И не об этом ли речь теперь идёт здесь? А то пожары, лавины, разливы рек... А не отметили ли вы случаев замечательных, неожиданно счастливых, так сказать, в том самом же году? Смерть да гибель, да покушения

с революциями, войны, партизанщина, полковники, герои мученики... - молодость целого мира против нас... Пока что они порознь, пока не объединились, но не за горами и это! Очевидно, и неважно в котором году, но и пытки, и тюремные застенки, и голод, и все эти спортивные и научно-спортивные подвиги...

- Давайте-ка поговорим об этом! – раздаётся знакомый голос нобелевского лауреата. – Люди на луне, не о том ли просили одного из своих богов наши предки...

- Ну, да... - теперь это уже голос её мужа – и прогуливаются по небесам, не бельмеса не смысля при том в поэзии...

- И влюблялись они, и ненавидели один другого, - раздался вновь тот первый, нераспознанный ею голос, - ...все по-разному влюблялись, а ненависть у всех была одной и тою же, сходной с непролазным, лесным буреломом... Чудовищное хвастовство с невероятной глупостью неподдающейся ощущению, подменяющей собою всё вокруг пустотой ...

И «поэт»:

- Мы богачи! Не нам ли принадлежит всё то, чем уставлены витрины мира...

- Ну да, и выставлено для тех, у кого есть чем расплатиться за это всё. Я же всякий раз несчастен рядом с тем, за что не в состоянии расплатиться. Чтобы обладать этим всем, талант равный, по крайней мере, твоему нужен ...

И сказано было то уже финансистом.

- От услышанного у меня сердце сжимается, ангел мой... - жалостливо шептал тому на ухо тенор, во все времена мечтавший о возможности быть с ним рядом вот так вот, касаясь ушка – хотя промеж нас, в отличие от прочих, иначе быть и не может. Ох уж, эта подлая зависть человека, горечь в душе влюблённо взирающего на прекрасную картину! А ночью, подобной этой, душа и вовсе рвется на части...

- Будет вам, не скромничал финансист никогда, если чего-то хотелось ему, в том-то и гений его. И этого, как картину какую-то или акции на бирже, не купишь... - рассеяно заметила она.

И пригрезился ей тот самый, незабвенный год: «Молодёжь всех стран, объединяйся!» А потом-то что? Ну, перевернули всё вверх дном, а что взамен? И хаос им наскучит так же, как скучают они от кажущегося порядка, от научного этого прогресса. Лёжа в постели, малейшему риску не подвергаясь - прежде так в поистине драматических событиях участвовать не доводилось никому. А эти грохот противостояния молодёжи с негодным миропорядком нашим в своих четырёх стенах по радио слушают. Как вживую, звук рвущихся

гранат со слезоточивым газом там, хриплые голоса из мегафонов с баррикад, на которых и пламя, и призывы к «человечности» и «великодушию» среди застрявших машин «скорой помощи», и кровь, и гневом сверкающие глаза... «Вы не из тронутых ли анархизмом?» - спрашивает диктор у рыжеволосого, не справившегося с миссией противостояния власти юнца.

- Что значит «тронутый анархизмом»? – вопит юнец, - как это понимать? Пускай уберут спецназовцев! Всё это закончится резнёй! И анархизмом я не тронутый! Уберите спецназ!

Но это и есть резня. Буйная в немоци, вслушивается она из постели своей в голос хаоса. Нежна кожа у западни собственной её беспомощности перед экипировкой солдат... Эх, перезагородить бы всё заново, да и начать счёт с новыми цифрами. А тому астронавту, который на днях собирается воткнуть свой звёздно-полосый флаг в Луну, ему бы душу другую, не тревожил бы он чтоб ничем её старую. Идёт туда человек с прежними, застаревшими уже печальями своими и радостями, идёт из хаоса, с полной путаницей идей своих и знаний своих.

И едва доходит до неё, что мыслит об этом она вслух:

- ...только где же тот пророк, которому по силам в наши дни зажечь путеводную звезду? Вывести нас из хаоса... Красные флаги, чёрные... всё это знаки прошлого...

- Очередной пророк? Новое обоснование мучениям людей?

Она перебивает профессора:

- А теперь, господа, пока «на нет» не сошла эта ночь, и день грядущий не наступил, признайте-ка тот факт, что безнадёжно мы все устарели, и что биты наши карты... все, до единой. «Свет свой, особый, есть у ночи!..» Какая ночь! Должно быть, когда: «Ну, что за ночь!..» поёт Саша Дистель, то речь идёт именно об этом таинстве. А нашей с вами ночи явно юмора не достаёт, как, впрочем, и всем жизням нашим, со всеми их ночами.

- Ну, уж нет! Нет, и нет! А то же присуждение Нобелевской премии мира мне? Да это же не то, что юмор, это умора. Это, как если бы взяли первый приз по плаванию, да и отдали бы его ничего в этом самом плавании не смыслящему. Я себя с этой премией мира ощущаю полным кретином. Если я её и заслуживаю, то лишь потому, что в войну всяческих мерзостей натерпелся сверх всякой меры. А вот в плане защиты этого мира, я столь же немощен, как и любой другой.

Нобелевский лауреат длинно и смачно откашлялся, после чего продолжал:

- Убеждений нет ни у кого... Кому по силам в наши дни всю планету, целиком обозреть и порядок на ней навести? Все высокие «соображения» направлены лишь на уничтожение себе подобных, ни одно не меркнет, ничего-то в них нового не проявляется. А сколь живучи некоторые, до чёртиков юморные и допотопные среди них? Вдумайтесь, спрашивают сегодня: а не противна ли Господу свара меж его же последователями, но разного толка – католиками и протестантами, как происходит то в Ирландии?! Вот, скажем, я сторонник новых веяний... однако, скажите на милость, что должен я думать о советском шовинизме, нарочитом, стоящим под парами? Русским достаёт ума не лететь на Луну, поскольку она не очень-то в славянском духе. Но это так, к слову. В области научной, в этой обители Господней, как и в семейном устройстве, трудоустройстве, где у них несомненные успехи, они и в правду способны не только Луны достичь, но и с оружием в руках свои страшно состарившиеся идеи защищать на земле. Так вот, у нас разум, а у них достижения! Знаете ли вы известные слова одного русского князя, случилось это где-то в девятом веке: «Велика земля наша и богата, да порядка в ней нет...» Вот и пригласили они тогда варягов северных порядок у себя навести. Самоубийственный юмор!

- Это у нас-то есть разум? – возражает ему поэт. – Может быть, да только короток он... Как у сосунков с баррикад шестьдесят восьмого года. С настенной, их же, словесностью. А доводы их, они у них на кончике указательного пальца, в оглавлении наших же якобы предвещаний. Но мы-то с вами ничего не открыли. В чём они, наши свершения? Только что слышалось мне звучавшее здесь слово - *сюрприз*... думается мне, что это о сюрпризах Истории. Надеюсь понять, пусть и с грехом пополам, что же происходит, что не удивлюсь, если в результате окажемся мы на её задворках. Во все времена ожидают, что всё должно идти как-то так вот, да идёт всё почему-то иначе...

Чудовищный грохот помешал им расслышать, что же это за этакое всё, что идёт не так, как должно – то не сдержался от вопля хозяин дома, выронивший из рук поднос с десертом, споткнувшись о ведро с шампанским. Гениальному художнику помогли подняться, усадили на канапе и, поскольку тот ничегошеньки себе не повредил, расхохотались, да так, что разбудили, должно быть, всех и вся по все округе. Однако же и день едва не носу, пора и расставаться всем до срока. Может чуточку ещё по парку прогуляться? Нет, нет, ей больше по сердцу остаться здесь... передохнуть, а вы... вы идите, идите, я же, прежде чем уйти, немного побуду одна. Храпит на

канаве живописец. На фоне светлеющего неба вырисовывается неподвижный профиль Фомы.

Её слегка знобит, зачинающийся рассвет смывает с неё толщу возраста, омолаживая и заполняя удивлявшей радостью, и кажется ей, что солнцу навстречу могла бы она пройти километры и километры. И, улыбаясь самой себе, она погружается в полудрёму... а поэт всё же был отъявленным оптимистом... но оптимисты все, как один, мерзавцы.

Я сижу в поезде. Меня забавляет, что ночь в нём, вовсе и не Ночь. Все мысли мои, до единой, там, в ночи, и они-то и есть та самая Ночь. Какой-то старый спальный вагон, один из тех, что при крушении сплющивается, словно пустой спичечный коробок. Снаружи он обит узкой доской, внутренняя отделка - красное дерево, голубой велюр с тиснёнными на нём цветами, жёлтый с рисунком трип, медь и жёсткий ременный крепёж. В туалетной комнате, промеж двух соседних купе, унитаз в форме соусницы, прикрытый лоханью. Всё не ново, но надраено, будто корабельная рубка или экспонаты на выставке средств гигиены.

Перрон едва освещён, на его противоположной стороне киоски, торгующие с колёс бутербродами и журналами, и там же ещё один поезд, едва переводивший дыхание после остановки и изрыгавший из себя пассажиров в желтизну стекавшей с уличных фонарей туманной хмари. Сцепки багажных тележек, извиваясь и побрякивая, протискиваются сквозь толпу в сторону выхода. Я пришла заблаговременно, времени у меня, чтобы устроиться на приготовленной, даже с отогнутым уголком покрывала, кушетке предостаточно. Пижаму достаю, тапочки... Скоро отправление, вторая постель, по-видимому, так и останется свободной. Прикрываю дверь, заслоняясь ею от тамбура, с толкотнёй в нём носильщиков, сопровождающих пассажиров; там спешка, сопение, гул голосов... Пора, поезд трогается, да так осторожно, что кажется, будто в движение приходит перрон за окном. И в это самое время какой-то мужчина в форме рывком открывает дверь, распакивает окно и втаскивает через него чемодан... и второй за ним. Вагон какое-то время сотрясается, скрипит, но очень скоро привычно лишь покачивается. Лейтенант, стоя во весь рост, занимает своими шинелью, фуражкой, френчем всё купе и..., наконец, замечает и меня: «Простите, бога ради!», закидывает чемоданы на верхнюю полку, снимает перчатки, головной убор, вешает шинель... стихает и, будто на изнанку вывернувшись, обретает человеческий облик.

- Весьма сожалею, мадмуазель...

Я подбираю под себя ноги и забиваюсь подальше в угол.

- Ничего страшного, но вы, должно быть, ошиблись с купе.

- Вы так думаете? - роняет он, обшаривая свои карманы.

- Я думаю, да... что, обычно, в спальные вагоны билеты разнополым особям не продают.

Он достаёт билет, я свой – всё как есть, ни он, ни я ничего не напутали. Он стоит передо мной в явном недоумении, затем одаривает меня очаровательной улыбкой:

- Смиримся с судьбой, мадмуазель... Или мадам?

Я мириться с судьбой не готова, отвечаю «нет» и качаю головой. Он садится рядом, на мою застеленную полку.

- Послушайте, но почему? Я, знаете ли, не храплю, ничем вас не беспокою.

Я поддаюсь его очарованию, немного даже возбуждена, и есть отчего - голубые глаза, белокур, безупречные зубы, полный, так сказать, «джентльменский набор».

- Напротив, какая-нибудь девица рядом с вами пришла бы в замешательство. Вы меня убить можете, ограбить, насильно мной овладеть. Я не желаю оставаться наедине с незнакомцем в паре кубических метров замкнутого пространства! К тому же ещё и с военным... с их обыкновением к приставам!

- Ну, это-то всё весьма и весьма преувеличено! А рядом с раскованной, да ещё и примиленькой женщиной дыхание, однако, перехватывает!

- Вот-вот... схожу-ка я за контролёром.

Контролёр сверяет обозначенные в билетах места, сокрушается, дескать, на лицо нелепость явная, однако он, мол, ничего поделать не сможет, поскольку во всём поезде ни одного, даже крохотного свободного местечка нет. Контролёр тот явная бестия с сальными, как и его выдавший виды, коричневый френч, глазками скабрёзно лыбится, покидая нас. Лейтенант тушует, смолкает. Мы стоим в пустом тамбуре и молчим, глядя в окно, за которым куда в ночь текут крыши, поля, деревья, а с ними и весь Иль-де-Франс. Покачивание вагона, в ритме джаза, волшебным образом завораживает нас.

- Пустое это всё, мадмуазель, не стану я вам докучать, скоротаю ночь здесь...

- Вот и отлично, - говорю уже я, - вот этого-то я от вас и дожидалась услышать. А не пойти ли нам вместе отужинать?

И уже он улыбается, и отправляемся мы к ростбифам с горошком, к подрумяненной корочке на картошке. Вагон ресторан

оказывается едва ли не у чёрта на куличках. В переполненных тамбурах то и дело, то правым плечом, то левым на кого-нибудь да натыкаемся, пропускают с едва скрываемым недовольством, нехотя, занятые самими лишь собой, болтая о какой-нибудь ерунде, не выпуская сигарету изо рта. Простите, извините! Это вам не спальные вагоны... Юнцы и девицы с волосами до плеч, все в джинсе или мини-юбках, мода взывает к сексу, предоставляя право пляться на всё, как, впрочем, всем этим и пользоваться. Я спотыкаюсь о чемоданы и аккордеоны в междвагонных переходах, вижу прямо под своими ногами с лязгом бьющиеся друг о дружку железные тарелки стыковочных узлов, на моих руках перчатки из разводов сажи, тяжёлые двери поддаются с трудом, отталкивая меня назад.

Вагон-ресторан набит битком. Отмечаю, что некоторые привилегии мундирам таки предоставляются - столик на двоих нам тут же освобождают. Добравшимся до ростбифа, нам есть о чём и поговорить. У лейтенанта есть жена и дети. Я рассказываюсь незамужней, коротавшей свою жизнь в компании с замечательной мамой. Собственная же ложь меня и забавляет. А он не лжёт мне? Все военные для меня невежественны и ограничены, но у этого же речь средней руки интеллектуала, и он не голлист. Он скорее был на стороне Массу¹⁷. Снова общество потребления, недовольство существующим порядком, служебный долг; ничего нового, в общем, лейтенант ей не открыл. Барт¹⁸, Фуко¹⁹, о боже, как всё это надоело...

- Мадмуазель, ваши представления об армии перезрели.

Объясняю ему, что не отхожу от матушкиной юбки ни на шаг, а та, дескать, с нынешним временем, хотя вовсе и не стара, что ей всего лишь под пятьдесят, ничего общего не имеет. Да, я до жути люблю свою маму, её все так любят, но предпочитаю не щеголять её весьма известным именем, и не стоит меня к тому принуждать, мне будет много вольготней, если я ничего о ней рассказывать не стану...

¹⁷ Жак Массу – французский генерал, стоявший у истоков спецназа Франции, возглавлял печально известный 10-ый десантный корпус. Возглавлял экспедиционные войска Франции, жестоко подавлял алжирское сопротивление, практикуя так называемую меру «коллективной ответственности», объявляя алжирских повстанцев «агентами Москвы». Сведения о действиях парашютистов Массу не вызывали во Франции особого желания гордиться своими солдатами и их подвигами.

¹⁸ Ролан Барт - французский философ-постструктуралист и семиотик. В конце 1940-х - начале 1950-х годов Барт находится под влиянием марксизма и экзистенциализма, симпатизирует «новому роману», «театру абсурда», сценическим идеям Б. Брехта.

¹⁹ Мишель Фуко - французский философ, теоретик культуры и историк. Является одним из наиболее известных представителей антипсихиатрии. Книги Фуко о социальных науках, медицине, тюрьмах, о проблеме безумия и сексуальности сделали его одним из самых влиятельных мыслителей XX века.

На обратном пути тамбуры пусты, путники разбрелись по своим местам. Который интересно теперь час? Задержались мы потому, что попросили после кофе ещё по стаканчику. Вот и наш вагон, двери все заперты, шторы опущены, в тамбуре кроме нас ни души. Освобождаю одну из оконных занавесей, тут же взмывающую и клубами ниспадающую по сторонам зачернённого ночью и обратившегося в зеркало оконного стекла, к нему-то я и прислоняюсь своим разгорячённым лбом. А за зеркалом тем всё куда-то течёт, вагон продолжает свой бег, постукивая колёсами о стыки, выискивая среди ажурного хитросплетения путей свою, нужную одному ему дорогу, гудит, пронзая меня тем самым гудком насквозь... я пытаюсь что-то припомнить... может и этот крик, кто ж его знает... паровоз бежит, превозмогая самого себя, закусив удила... я перестаю отличать поезд от исходившей от него и завораживающей меня магии... Всё, всё мимолётность, не позволяющая задерживаться в себе, я лишь муха ею переносимая, и в ней я то барахтаюсь, то на голубом бархате её стен замираю приклеенной. И что бы я не делала, а от сна пробуждаться на следующий день всякий раз приходится вовне её. Иллюзия вместо самого происшедшего. Вот и теперь, я снова раскрываю рот, чтобы солгать, продолжая о матери:

- Она живёт, сказала бы я, ни на минуту не снимая с себя плотно облегающий, сотканный из прошлого наряд ... королевскую мантию, шлейф которой – славу - поправляет носком туфельки, как проделывали это в минувшую эпоху дамы на балах: он же, когда ну совершенно необходимо показать себя (со всех сторон и всем, и в одно и то же время) въётся вокруг ног. Этакая Сара Бернар²⁰ наших дней. Любовь публики к ней так и не иссякла.

Слушает он меня истово. Слава той, никому неведомой комедиантки представляется и мне из ряда загадочных иллюзий. И я продолжаю:

- Мы с ней частенько, до моего отъезда, шли обедать по набережным возле Нотр-Дам, прогуливались вокруг неё... теперь это стало тем самым «старым Парижем», который парижанами отдан на откуп туристам. Теперь даже хиппи и те обосновались на улице Сент-Андре-дез-Ар. Мама, когда мы с ней там бываем, чувствует себя иностранкой.

²⁰ Sarah Bernhardt; урождённая Генриетта Розин Бернар, фр. *Henriette Rosine Bernard*; 1844-1923 гг., драматическая актриса.

Многие выдающиеся её современники, в частности, А. П. Чехов, И. С. Тургенев, А. С. Суворин¹ и Т. Л. Щепкина-Куперник, отрицали наличие у актрисы таланта, который подменялся предельно отточенной и механистической техникой игры. Столь крупный успех ими объяснялся феноменальным паблисити, оказываемым Бернар прессой, и более касавшимся её личной жизни, чем собственно театра, а также необычайно раздуваемым ажиотажем, предшествующим самому представлению.

Ловлю себя на мысли, что он меня больше рассматривает, нежели слушает... Однако отвечает впопад: что так-то оно, пожалуй, и есть, и потому-то, коль скоро разделяю воззрения матери, то и не могу взять в толк, отчего это какой-то «кто-то там» наделён правом решать, должно ли, нет ли спать в одном купе некой женщине и некому мужчине... чем и доводит меня до смеху. «Вовсе нет, всё было совершенно иначе, да нет же...» - как в плохом водевиле, банальностью и жеманно воспротивилась я, и это-то меня саму и раздражает. Будь мы в Париже, произнесено было в ответ, надел бы он что-нибудь цивильное, и прошлись бы мы по улице Сен-Северин туристами, или же молодой парой, рука об руку, а потом зашли бы...

А я так и стою, прислонившись лбом к холодному стеклу. Поезд притормаживает, собираясь остановиться. Станционный громкоговоритель, настолько сильный, что с трудом понятны отлетающие из него отдельные слова, вещает что-то важное. Пустынным тамбуром спешно, не бросив в нашу сторону ни единого взгляда, проходит, покачивая фонарём в руке, мужчина в форме железнодорожника. Поезд трогается, вновь принимаясь за прерванное было занятие: дырявит, на манер швейной машинки, километры иссиня тёмного полотна пейзажа, бросая его позади себя. Прислонившись спиной к перегородке, лейтенант курит. После затянувшейся паузы первой заговариваю я, заметив за затемнённым окном потянувшийся квартал «чайна-таун» с его ресторанчиками... не многовато ли, дескать, стало во Франции, да ещё и так скоро, любителей китайской кухни?

Лейтенант серьёзен, бледен, красив, точь-в-точь Поэт, после призыва того в армию. Мундир опять же... По мне, так они таинственней принадлежащих иному сообществу, гражданскому, так называемых «мужчин», с нелепыми их недомолвками о них же самих и между ними, проистекавшими из самой их сути, которую я так и не постигла, будто сотворённые совсем из другого теста. А мундир и сапоги лишь подчёркивают то различие, напоминают о вполне привычных любому военному - людском скоплении, ночлеге под одной крышей, борделе, оружии.

Он не интересуется, о чём я думаю: промеж друг друга незнающими это не принято. На мне длинное, облегающее, как на любой девице платье, я в тамбуре на откидном сиденье, юбку мою вздувает кверху, заголяя меня снизу, он не в состоянии оторвать взгляд от моих бёдер, лицо моё укрыто плотной занавесью моих же волос.

- Вы прекрасны... Похоже, от матушки унаследовали Вы неизлечимый своей комплекс, им отмечены, едва ли не поголовно, все дети известных родителей. И уверяю Вас, что ни к чему Вам вовсе тот самый шлейф... ни со звёздной россыпью, ни с каким-то другим украшательством. Живите сейчас, сегодня обыкновенная мини-юбка дороже всех сокровищ мира.

И на меня вдруг рушится невероятная усталость, из-за долгого должно быть вранья. Пойти бы, да залечь в постель: ведь живу я теперь, сегодня, так зачем же и лейтенанту в его праве на ложе отказывать?

- Я иду спать. Да и вы тоже, знаете ли... а всё, что тут было, это так... шутила я.

Он, покуда я спала, где-то сошёл... как когда-то и поэт.

Она сизнова одна, в том самом же кресле, другие, должно быть, всё ещё прогуливаются в спустившейся на парк, после грозы, прохладе. Хозяин дома недвижим, как канапе, на коем спит, Фомы и след простыл.

Реальность сна из ряда вон: формат цветной, экран огромен! Чувства, мысли: одно к другому так подогнано, так «всамделишно» всё! Что же то был за лейтенант? Не в его ли честь все неотступные помыслы её? Видно, в сокрытых даже от себя самой мечтах, в таком вот, современном облики и представала она перед собой. Во все времена были ей по сердцу поезда, их она полюбила сразу и навсегда: в них не стихает жизнь, там читают, едят, пьют, сталкиваются с непредвиденным. Совершенно незнакомые, чуждые друг другу люди становятся вдруг в их тесном чреве, подобно набитым в чемодан вещам, комплекту дорожного несессера, близкими. И лейтенант из сновидения, он тоже один из предметов несессера, дорого только, из натуральной кожи. А не ложь ли то, что является во снах?! Та же изо лжи сотканная мать, и облегающий тот же, облепляющий, так нравящийся ей на нынешних девицах наряд ... Этакое ходячее эротическое эссе. Говорят же: «любовь это для молодёжи, старикам остаются лишь непристойные жесты», и не зря. Давай, валяй, и, укрывшись в затмении прикрытых век, то кроваво-красных, то сизых, спи, о чём пожелаешь, ни в чём себе не отказывая... и падает ночь в неё самую. И каждый из привидевшихся ей снов в той самой ночи и есть **Ночь**; владелец дома навязал им под встречу ночь, и она прогнулась перед этим его настоянием, прогнулась опять же во сне, и ничегошеньки не снилось ей кроме той самой **Ночи**... И обрывки тех снов, да и то малая лишь толика

остатков уже и тех обрывков, опадали, мерцая на солнце, как снег. Глядя на них, она уверялась в том, что всё всегда, если и случается, то только в ночи.

Никогда уж не предстанет мне корить себя за те крохи правды, просыпанные в моём сне. В тамбуре поезда, буравящего темень ночи, разговаривала я с лейтенантом моей матушки... Сама она была в турне, пожинала свои лавры, а вместе с тем и миллионы. Не было её рядом со мной, поплакаться ей в жилетку я не могла. Я актриса... ей была, ей остаюсь и пребуду ею всегда. Но не всегда были у меня сцена и роли, как нет и славы матери у меня. О нет, я не ревнива, но порой это причиняет боль, только ни в коем случае не обращенную против неё. Она здесь ни при чём. Она помогала мне изо всех своих сил, но если публика дуется на вас... Бывали у нас и совместные с ней выходы, но пресса, если и отмечала меня, то лишь потому, что я её дочь. Но вот я и без работы, муж где-то на природе, и я... жду его, я – само ожидание. У меня нет малейшего желания лезть в постель в одиночестве на авеню Фридланд²¹, потому и отправляюсь в дом матери, мысленно обзреваю свой нижний, первый с улицы этаж и поднимаюсь в мамин.

Широкая, просторная лестница. Уже поздно. В вестибюль заходит сосед по моему этажу, задерживаемся обменяться парой слов. Он не женат, и ему очень уютно в его холостяцестве. Завёл пару собак. Разговор идёт прямо на лестнице, гулкой, пышущей роскошью, пустынной, словно церковные своды. В этом доме мне довелось явиться на свет, а лестница эта так и не стала моей, в то время как ей доподлинно известно, что я снова лгу. Реле в n - раз выключает лестничное освещение, и сосед решается:

- Не желаете ли на минутку заглянуть ко мне, мадам?

Мы заходим в величественную тишь, сдавленную деревом стенных панелей и высоким потолком.

- Я не сплю оттого, что Беллета должна оцениться. Не желаете ли посмотреть? Ей это не в первой...

Мы заходим в соседнюю комнату, а там... по окончности персидского ковра кружит Беллета - позвякивающая медальками, породистая, бежевой масти левретка. И щеня выпросталось уже из неё наполовину! Та же ищет, где бы ей от него, на том самом ковре, разрешиться. Сосед подбирает выбравшегося малыша в корзину и подносит ко мне... тот не больше мышки и вовсе ещё

²¹ Улица в центре Парижа, неподалёку от Триумфальной аркой с площади де Голля (ныне Place d'Etoile) и особняка Аделя Родшильда. На ней в 1902 году установлен памятник Бальзаку работы Александра Фальгейра.

без шёрстки. Беллета перестаёт кружить, выражая поведением своим смятение, но на большее нет у неё уже времени, поскольку появляется из неё другое щеня. Я замираю, зачарованная тем, как всё это пристойно у неё происходит. Прямо на моих глазах, тут вот, в безмолвии с видом на зелёные ветви деревьев, некая маленькая собачонка кружит вокруг персидского ковра, возраст которого теряется в глубинах эпох, и непринуждённо производит на свет своё потомство...

- Давайте-ка выпьем, по маленькой...

Ну, конечно, мне очень хочется чего-нибудь глотнуть, и, уже с бокалом в руке, я снова поворачиваюсь к собачке, и на ковре лежит второе щеня. «Ну же, Беллета, полноте, что это с вами? — обратился к ней холостяк, - займитесь-ка вашим малышом». Беллета принимается вылизывать своё творение, и кто-нибудь, глядя на это, мог бы подумать, что человек этот всю свою жизнь посвятил уходу за собаками на сносях.

- Пойду-ка я к себе, поздновато уж.

- Что ж, спокойной ночи, мадам... А я, как и Беллета, кое-что ещё не доделал, да и не спится чего-то мне. Как дела вашей матушки, мадам? В последний раз видел я её в «Электре»... какая актриса!

Примеряю, с досадой, эти слова на себя. Пса, которого я любила бы, у меня нет, нет щенят, нет мужа... поднимаюсь к матери, а спать нужно бы у себя. Пловлю себя на мысли, что плод распавшихся семейных уз, как правило, самобытен: Ален Делон из распавшейся семьи, Натали Делон²² — из распавшейся, родители Аннабель Бюффе²³ в разводе, у Жака Мартена²⁴ — то же самое. Вот и я, продукт распавшейся семьи. Родилась здесь, среди ночи, в этом самом доме, при себе мама оставила не меня, а детскую: премиленькая эта комната и теперь там, у неё под боком. Могу взглянуть на неё, но не хочу. Забираюсь в огромную, застланную тонким кружевным батистом постель матери и вслушиваюсь в бой часов. И в голос матери... на самом деле! в каком-то смысле она здесь! Так вот, мама говорит: «Старичье-то, куда они все подевались? Не уж то поумирали? Тебе-то всё нипочём, кругом

²² *Natpalie Delon* - настоящее имя Франсин Канова (*Francine Canovas*), по первому мужу Бартелеми (*Barthelemy*); род. 1 августа 1941, Уджа, Марокко) — французская актриса и режиссёр. Вторая супруга Алена Делона, мать Энтони Делона.

²³ *Annabel Buffet* — французская писательница, жена известного фр. художника, Бернара Бюффе, члена французской Академии искусств, кавалера ордена Почетного легиона, написавшего свыше 8000 картин и рисунков.

²⁴ *Jacques Martin* — (1933 г. - 2007 г.), актер, режиссер, продюсер, сценарист, композитор.

девицы наивные, да самовлюблённые юнцы... в лавках сплошь тридцать восьмой, да сороковой размеры, а я уж в срок втором, и мне нелегко чего-то на себя подобрать. А каково тем, кто дорос до сорок четвертого? Хотя и они, однако, голыми по улицам не ходят. А что делать дурно сложенным? Или таких уж нет? Все красавицы, стройные, с великолепной груди, длинноногие, с умопомрачительной линией бёдер... А я, я из моды вышла уже, я из коротконожек. И твоя старая мать обожает тебя, красавица моя сорокового размера!» И я смеюсь, смеюсь, смеюсь. Я дитя супругов в разводе, невероятно избалованное, отец и мать соперничали друг с другом, отвлекая моё внимание от противной стороны. А куда же лейтенант подевался? На авеню Фридланд дожидается меня некий американец... лейтенант же вернулся к своей жене и детям. Распластавшись в постели матери, смакую одним лишь боем часов нарушаемую тишину, но и бой тот раздражает меня донельзя. А за окном жужжит авеню Фридланд, и я вновь засыпаю, укутавшись в кружева мамы, при настезь открытых занавесях, так и не отыскав на небе луны, там, может быть, вовсе и не присутствовавшей. На своё счастье снаружи, на двери, табличку с надписью: «Не беспокоить!» я оставила.

- Довольно спать, ангел мой! Рассвет уж на носу...

Она что же, табличку с надписью «Не беспокоить» на двери не оставляла?.. Ах, ну да, это ей всё привиделось во сне! Над нею колышется округлое брюшко тенора с блошиного рынка - чего только в полудрёме-то не понавыдумываешь!

- Довольно спать... эта ночь, под общей крышей для нас для всех, последняя, другой такой не бывать. Что она есть, и то уж чудо из чудес, а они, чудеса-то, не повторяются.

Про себя она думает, что всё ещё спит, что это всё тот же сон, а в том самом сне видит она и те самые три ступени, и вдыхает тот божественно свежий воздух. И из временного того прибежища никуда она ещё не выходила – с кем, когда, куда? – ну да, был тот звонок... и ещё кровать... и собаку мыла она, красивую такую собаку, пегую, всю в красно-бурых отметинах. К собаке той чувствует она невероятную любовь, участие, нежность.

- Да нет же, не сплю я...

Она видит и их одного за другим, чередой возвращающихся из парка. Ночь утратила былую свою черноту, снаружи доносится нестройный птичий гомон. Соловья среди них нет, увы. Он смолк, не дождавшись рассвета. Весь этот птичий хор, свободный от сольной партии мэтра, от возвышенного её мастерства, громоздится на его

место, каждый пытается подражать голосу его, повторяя крохотные обрывки из подслушанных трелей, а то и вовсе отдельные ноты из них, в избытке, до пресыщения, всяк на свой лад воспевая рассвет: едва проснувшиеся, суетно и лихорадочно попискивающие осанну солнцу, едва обозначившему своё появление в слабом отсвете неразличимого ещё источника света. Соловей остался где-то там, позади, наедине с самой ночью, самоотверженно преданный разводам её темноты - среди них ничто не нарушает пения его; в чутком безмолвии ночи, в безмерном одиночестве её творит он предстоящий день.

Всем им предстоит возвращение в тот мир, которому дела нет до хромоножек-неудачников: всё в нём - для уверенных в себе, способных куда-то идти и дойти. Для большинства из живущих, для тех, кто направляется на какие-то матчи, на шоу в Бурже наблюдать первый отрыв от земли красавца *Конкорда*, для лыжников и пловцов, для впадающих в экстаз от концертов на самых разных сценических площадках, для толпящихся у касс кинотеатров, для карабкающихся по лестницам и стоящих на автострадах в пробках, для заполняющих собой пляжи и поезда, для перекусывающих на ходу и не боящихся быстро, для уплетающих мороженное, блины, вафли и что-то из спиртного, валяясь на влажной траве, для занятых созиданием детей и возведением баррикад, для бастующих, негодующих и умирающих за это молодыми.

Видит она и их следы, оставленные на влажном песке, видит мокрую их от росы ли, от ночного ли ливня обувь. Каждый занимает своё, на котором сидел в начале ночи, место: что твой оркестр перед поднятием занавеса, по сути - в преддверии наступавшего дня. День тот обещает быть славным: без единого облачка небо уже светлеет, звёзды и луна заметно скромнеют - вот-вот вступит в суверенные свои права солнце. Её охватывает неведомое доселе беспокойство, она пробует просить помощи, губы её шевелятся, но безмолвствуют. Воздуха, ради Бога воздуха! Мужчина в белой куртке уводит куда-то, похоже насовсем, хозяина дома. Какая-то, крепкого сложения девица собирает полные окурков пепельницы, бокалы и бутылки, салфетки и запачканные тарелки, всё явно торопясь. Вторая, помоложе, стелет на земляные квадраты грубый холст.

Ночь, вместе с ней и время, рассеиваются. В зал по-хозяйски вступает солнце, небрежно, бесцеремонно заполняя собой всё, что попадает на пути, снизу доверху. Никому и в голову не приходит чем-то притом озаботиться: игра сделана. Одна лишь молодуха, что возилась с холстиной, спешит отпустить венецианские шторы, и те рушатся к низу, одна за другой, с весёлым перестуком.

Мужчина в белой куртке и крепкотелая девица расставляют на столы дышавшие паром кофейники, круассаны, сливочное масло. Все вокруг болтают, подливают себе кофе, окунают в него тартинки. Никому не приходит в голову мысль, что следующей ночью кто-то станет подсчитывать полученный якобы от Празднества доход.

Она не припоминает себя преодолевающей те три ступени... На заре, пустовавший несколько минут под градом парк принял её, усмехавшуюся над своими невзгодами, в объятия свежести своей ...

...царил здесь аромат смолы и мяты...

Предстоящий день обещал жару. Боль в спине перетекала в руки, но терпеть оставалось недолго, ещё чуть и всё закончится.

На выход постоянного двора шла после свидания костлявая, улыбчивая женщина, узнаваемая всеми даже и без розы в руке.

Они беседовали с чашками кофе в руках, готовые к разлуке, готовясь к... как вдруг из глубины парка донёсся до них крик, долгим паровозным гудком. Кто-то выронил из рук чашку, разлетевшуюся в мелкую фарфоровую крошку.

Нашёл её некто М. Лежала она, опрокинувшись навзничь, в росной траве. Широко распахнутые глаза придавали её взгляду ни с чем несравнимое выражение - было оно полно солнцем, ночь из них ушла без остатка.

Они же видели её, видели в ней себя, видели всё, вплоть до мельчайших деталей.

Лето, 1969

Эпилог

Десяток мужчин и дама, просторный зал, высокими окнами выходящий в громаду парка...близится к финалу их званый ужин, как и вся их жизнь. Свет не зажигают, и темнота той необычной, особого очарования ночи скрадывает меты, оставленные на них возрастом, размывает рубежи, отделяющие явь от сна.

Собранные воедино: время, место и действие – ни это ли те самые измерения, среди которых и оформляется «объём» сущего?

Персонажи трагедии, они же и подельники, собравшиеся на ночное randevu, судьбами своими метнувшиеся в разные стороны подобно лучам одного источника, во времена оны, в общей для них молодости, составляли, так ли, иначе ли, но оставивший свой след на тропе искусства «кружок». Узнать о том и о них предстоит в изложении той единственной женщины, назовём её рассказчицей, главной к тому же героини и всего повествования. Ночь вокруг неё населится плотной толпой прочих теней: того, что было и того, что есть, образуя некий факультет «воскрешения в памяти и забвения», а вальсирующие в ночном воздухе сновидения, её же и выставят к всеобщему обозрению то «в чём мать родила», то наглухо задрапируют от постороннего взора. Сны – они, если и подвластны, то не нашей прихоти: загаданного в них не увидеть.

Близится рассвет. Умолкает соловей, и та ночь, вобравшая в себя все минувшие, меркнет и умирает, отвергаемая прозрачной ясностью зарождающегося дня.

Обращение из прошлого, не дошедшее во времени до нас...